



НОВАЯ ПОЛЬША 1/2008

Содержание

1. ЗАПИСКИ О РОССИИ
2. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
3. КАК ПЕЧАТАЛИ СВОБОДУ
4. НАШ ДРУГ МАРКУШ
5. МОЖНО ЛИ ЖИТЬ ЗА СЧЕТ СМЕХА?
6. ВСЕ МЫ ИЗ ОДНОЙ ШИНЕЛИ
7. ВСЁ КАК-ТО ИЗМЕЛЬЧАЛО
8. МАРТИН СЕНДЕЦКИЙ
9. ДВОЙНИК ЗЯТЯ ТОЛСТОГО
10. ОБЫКНОВЕННАЯ ЛЮБОВЬ
11. ДО ЧЕГО ЖЕ МЕТКОЕ НАЗВАНИЕ!
12. КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА
13. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ
14. КАК ТУТ ВОПРОШАТЬ О СМЫСЛЕ?

ЗАПИСКИ О РОССИИ

“Записки” (Варшава, “Прушинский и Ко”, 2007) стали последним произведением автора “Польши Пястов”, “Польши Ягеллонов” и “Речи Посполитой Обоих Народов”. Он стал писать их в начале 1970 г. и не закончил – в том же году он скоропостижно скончался. Но Ясеница успел написать о детстве, о России, где он родился в 1909 г. и где был во время исторических событий – февральской и октябрьской революций, гражданской войны. Мы выбрали из только что вышедшей книги отрывки, рассказывающие о событиях 1917 и следующих лет, как они сохранились в памяти ребенка, ставшего выдающимся историком.

Это было, должно быть, к вечеру: сверху на стол уже падал сильный свет керосиновой лампы, но нас с братом еще не загнали в постель. А может, родителям было тогда не до этого? Склонившись над какой-то бумагой, то ли письмом, то ли газетой, они ожесточенно спорили. Мне запали в память их слова, касавшиеся таинственных дел – замерзшей реки, проруби возле моста, чьей-то калоши, оставшейся на льду.

Сегодня мне легко расшифровать значение этих отрывочных воспоминаний, безошибочно подогнать тот вечер к хронологии событий, повсеместно признанных историческими, – даже такими, которые “потрясли мир”. А было это попросту в самом начале 1917 г., в какой-то из первых его дней. Польская интеллигентская пара, жившая в поселке Максатиха Тверской губернии Российской империи, так и сяк разбирала только что полученное известие о насильственной смерти Григория Распутина. Старый порядок разваливался сам собой. (...)

Я не запомнил вообще ни единого факта, связанного с октябрьской революцией. Довольно хорошо помню, как разразилась мировая война: тянущиеся на вокзал толпы запасников, устроенный на другой стороне улицы госпиталь для раненых, слава донца Кузьмы Крючкова, который совершил какие-то легендарные подвиги, едва успела начаться война. Великое историческое событие, наступившее тремя с лишним годами позже, совсем не зацепилось в моей детской памяти. Только много месяцев спустя и в совершенно другом захолустье бывшей империи мне предстояло узнать, как звучат винтовочные выстрелы. А в такого рода звуки мальчик, с наслаждением игравший в оловянных солдатиков, вслушивается внимательно. Не было случая, отсутствовали эти

звуковые эффекты, пока мы жили в глубине России, вдали от более крупных городов.

Март 1917 г. (революция, известная под названием февральской, которая свергла царизм) принес нравственное потрясение, опьянил лозунгом свободы, в октябре в Петербурге было выиграно энергичное состязание в борьбе за власть. Меня вовсе не удивляет, что я не запомнил никаких отголосков этого события.

Уже после заключения Брестского мира, где-то летом 1918 г., у нас неожиданно объявился младший брат матери, Владислав Малишевский. Он служил в царской армии в качестве офицера запаса, а во время отступления из-под Горлице был ранен в ногу и попал в австрийский плен – сидел в Будапеште, остался жив и здоров, но наголодался. (...)

В Рыбинске и Ярославле – не говоря уже о Москве и Петрограде – шли тогда бои, было тяжело и страшно. На Путиловском заводе даже прошла первая в истории советского строя забастовка. Историография детально обсуждает эти факты, забывая, что тогдашняя Россия состояла по меньшей мере на восемьдесят процентов из таких Максатих или еще более глухих населенных пунктов. Потому что у нас в Максатихе была хотя бы железная дорога. В ней не нуждался и на здешней станции наверняка не останавливался знаменитый бронепоезд Льва Троцкого. В эти края не добрался никакой Юденич, Колчак или другой белый генерал из тех, что наступали с имперских окраин по направлению к центру государства. Чешские legionеры без особого энтузиазма действовали в окрестностях... экзотической, но тоже далекой Самары.

Завершилась мировая война, финалом которой стали целых две русские революции. На протяжении всего этого времени никто не мешал мне удить рыбу под железнодорожным мостом в Максатихе и свободно разгуливать по ее деревянным тротуарам. Не было, видно, необходимости выставлять тут любых, белых или красных, караульных.

Глухая провинция коренной России приняла новый строй безучастно. Мужик охотно взял барскую землю и “вгрызся” в свое хозяйство. (...)

Я читаю о военном коммунизме, о немилосердных реквизициях продовольствия, которые велись по деревням уже в 1918 году. И не спорю, отнюдь не спорю. Хочу только сказать, что нам, людям, не владевшим никаким имуществом, ничто не мешало вести в ту пору вполне сытую жизнь. При этом не

приходилось продавать отцовский рояль или мамины брошки и кольца.

Важнейшее мое свидетельство перед лицом истории, – это повторить, что, пережив в глубине России обе революции, февральскую и октябрьскую, первые выстрелы и взрывы ручных гранат я слышал только в 1919 г. на Украине. В обоих случаях я жил в глухой провинции.

Мы уехали из Максатихи в конце лета или ранней осенью. Мир продолжался уже несколько месяцев, и можно было легально пересечь демаркационную линию, или границу. Она пролегла тогда близ Орши, к востоку от нее. Проверять наш багаж и документы пришел молодой неразговорчивый немецкий офицер, туго затянутый в серый мундир, нестибаемо прямой, идеально выбритый и вымытый. Я вытаращил глаза, потому что такого вояку на пружинках еще не видал. Так же, как и широких, в мою тогдашнюю ладонь, штыков на винтовках его эскорта. Поведение немцев было безукоризненным, обыск – поверхностным. Ценности, зашитые в мою рубашку, благополучно пересекли границу государств и систем.

Позже мне несколько раз пришлось познакомиться с так называемыми репатриантскими поездами, однако ни одно из моих путешествий не прошло в таких же комфортабельных условиях, как та поездка из Максатихи в Оршу, в революционной, уже большевистской России. Ехали мы, правда, в товарных вагонах, но в чистых, целиком приспособленных под перевозку людей. По обе стороны – деревянные нары, сразу же застланные сенниками, возможность расставить вещи, готовить еду на примусах, умеренное число пассажиров на один вагон. По пути – никаких конфискаций, нападений, грабежей или других подобных неприятностей, о голоде и говорить не приходится. Один из наших попутчиков, старый холостяк, вызывал всеобщее веселье, умеряемое лишь нормами этикета: с утра до вечера он почти все время что-то себе стряпал и ел. По дороге заболел брат, на ноге у него образовалась большая язва; в городе, где поезд остановился на несколько часов, ему немедля сделали операцию, причем хорошо, без всяких осложнений. По всей видимости, медицинская служба продолжала работать, и, пожалуй, безотказно.

Из всех этих мелочей, похоже, вытекает, что не сразу, а может быть, не везде сразу наступили хорошо известные революционные трудности, пресловутое “хождение по мукам”. Так никогда и не было вполне достоверно доказано, что этих мук нельзя было избежать или хотя бы сделать их не такими

страшными. Можно широко применять известные слова Гоголя об унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекала.

Таким образом, я уехал из России, пожалуй, уже навсегда, что вроде бы гарантирует мой нынешний возраст. Из нее я вывез на запад достояние в виде искренней симпатии к русскому народу. Это чувство, спешу подчеркнуть, совершенно не зависит от оценки политических порядков, действовавших в разные времена в этой обширной стране, и от их нравственных последствий, которые приводят к тому, что при любом строе у слишком многих русских совесть кончается там, где начинаются государственные интересы. (...)

Во время войны в Максатиху начали прибывать беженцы и переселенцы с земель, оставленных русскими войсками. Вместе с ними приехала единственная еврейская семья и поселилась по соседству с нами. Люди из нашего городишки заинтересованно глазели на представителей совершенно неизвестной им национальности.

И вот в Максатихе на Волчине – любопытство, сочетавшееся с доброжелательностью к жертвам войны, а в Киеве на Днепре – погромы, организованные черносотенцами, “Союзом Михаила Архангела”. Я бы наверное не вывез из Максатихи приятных воспоминаний, если бы поляки составляли там многочисленную группу, а особенно если бы они монополизировали какую-либо область заработков. (...) Мы приехали из России на Украину, чтобы очутиться поближе к отцу матери, моему деду Виктору Малишевскому.

Уехав из Франции, он служил железнодорожником на южных линиях империи. В надлежащее время он обратил свою пенсию в капитал и, располагая вдобавок сбережениями, стал действовать на свой страх и риск. Небольшой суконной фабрики в Чаплинке его лишило наводнение, зато огромная паровая мельница в Порадовке под Киевом, оснащенная динамо-машиной и рассчитанная на работу в промышленных масштабах, оказалась неиссякаемым источником денег. Самое сердце черноземной Украины, а в радиусе многих верст – никакой конкуренции, кроме ветряков. Война и перевороты не только не нарушили процветания, но еще его усилили.

Дед жил в Боярке – населенном пункте, который от упомянутой Порадовки отделяла только речка Гнилой Тикич, протекавшая в густых зарослях камыша. Дед не имел ничего общего с землевладением или иной помещичьей собственностью, но крестьяне, несмотря на это, называли его между собою не иначе, как “пан”. Поэтому наша троица была “панскими

внуками”. При немецкой оккупации там тоже случались волнения. Я был свидетелем только одного ночного грабительского налета, при каком-то из следующих отец лишился обручального кольца. Когда с течением времени становилось всё хуже, крестьяне из Порадовки обратились к нам с предложением помочь. Старый “пан” перебрался к одному из местных и стал жить там постоянно. Каждый вечер к нам являлись из деревни два молодца – поочередно сменявшийся караул. Они потребляли миску яичницы, обильно запивая ее самогоном, после чего укладывались спать на соломе в избе. Винтовки они держали под рукой, гранаты – видимо, из осторожности – раскладывали на столе.

Оригинальным образом сложились отношения между зажиточным польским “паном” и местными “резунами”. Ибо надо помнить, что окрестности Таращи, Сквиры и Белой Церкви издавна пользовались славой самых грозных на всей Украине гнездилищ гайдамаков. (...)

Раздумывая над происхождением истинной дружбы, которая связывала старого “пана” Малишевского с окрестным крестьянством, я прихожу к простому выводу. Родившийся в Нанте от матери-бретонки, воспитанный во Франции и сам наполовину француз, дед относился к соседям не на сарматский манер, а на французский. Человек вспыльчивый и жесткий, он умел хорошо блюсти собственные интересы, но такое же право признавал за всяким другим. Практическое применение якобы бесплодного – ибо чисто формального – принципа гражданского равенства на сей раз каким-то образом оказалось плодотворным, причем в смысле жизни или смерти.

Дед Виктор принадлежал к ярым дрейфусарам. Дело Дрейфуса он принимал так близко к сердцу, будто жил не у Гнилого Тикича, а по-прежнему у Луары, в своем родном Нанте. Вероятно, в связи с этим я не слышал о конфликтах с евреями, которые составляли подавляющее большинство населения Боярки. Бухгалтером на мельнице был некий Нухим. Дед часто бранил его за нерасторопность и ошибки, но никогда – за происхождение. (...)

Революция обещала раз и навсегда покончить с антисемитизмом, включить его в разряд худших преступлений. Она запретила употреблять слово “жид”, которое [в отличие от польского языка] по-русски имеет оскорбительный оттенок. Известный, до некоторой степени официально признанный тезис о том, что внутренние враги царской России – это “поляки, жида и студенты”, не только не унижал представителей первой и последней из

поименованных групп, но даже возвышал их в собственных глазах. Со второй дело обстояло совершенно, ну просто совершенно иначе. Этот член тезиса плавал в соусе презрения.

И гонимые поддерживали то политическое течение, которое обещало ликвидировать это клеймо, позабыть о нем... Это было в порядке вещей.

Царские порядки, они же идеалы, нашли защитников. Их численность не оправдывала размеров и характера репрессий, обрушившихся на пассивную массу, – русские эмигрантские историки считают, что в движении сопротивления большевикам участвовало лишь пять процентов царских офицеров. Однако же те, что действовали, вытворяли такие вещи, которые меня лично склоняют к определенному выводу. Гитлер и Гиммлер не должны считаться первыми в XX веке творцами и исполнителями программы “Endlösung”, окончательного решения еврейского вопроса. Роль первопроходцев причитается кому-то совсем другому – к сожалению, братьям-славянам.

В самом начале лета 1919 г. Таращу заняли войска генерала Антона Деникина. Снова засияли пресловутые золотые погоны. Они были предметом такой ненависти большевиков, что только безумец мог бы тогда прорицать их триумфальное возвращение в Россию, к тому времени уже запредельно красную. Кто это сказал: “Уста мудреца не произносят слова „никогда””??

В те времена считалось аксиомой, что евреи обо всем узнают заранее. В согласии с этой теорией лучшим предзнаменованием наступающих перемен были кучки иудеев, таинственно шепчущихся на тротуарах и под стенами домов. В ту субботу еврейское всеведение оказалась легендой – у них не хватило даже обыкновенной осторожности, умения предвидеть на шаг вперед. В прекрасный теплый день на тротуарах было полным-полно прогуливающейся еврейской публики. С утра жители Таращи глядели, как проходят войска. Долго тянулись обозы или какие-то другие конные упряжки под эскортом пеших казаков, видимо кубанцев, потому что часто наряженных в широкополые фетровые шляпы. Уже под вечер из-за поворота, за которым несколькими месяцами раньше исчезали немцы, выехал крупный отряд обмундированной единообразно, по-старому образцу кавалерии. Над первым эскадроном развевалось трехцветное, сине-бело-красное царское знамя. Все началось мгновение спустя – крики бешенства и отчаяния, убегающая толпа, а за ней голубовато посверкивающие сабли.

Мы жили на одной из лучших улиц городка, но расположенной вблизи окраины, как раз на пути всяческого вступления и отступления войск. Главный, парадный вход вел к нам прямо с тротуара, и родители открыли дверь, куда успели протиснуться тридцать с чем-то человек. Понятия не имею, каким образом это осталось незамеченным: вероятно, погромщики чересчур занялись теми из убегающих, кто остался сзади. Разъяренный человек многое может прозевать, особенно если ему самому совершенно никакая опасность не угрожает.

Была в нашей квартире небольшая комната, которую мы с братом называли “Камчаткой”, потому что зимой там бывало холодно. Единственное ее окно выходило в маленький садик, непроницаемо заслоненный высоким и плотным дощатым забором. В этой камере и укрылись беглецы, после чего усилиями всей нашей семьи к двери был придвинут шкаф. Отец еще успел быстро побежать через двор во вторую половину дома – ее занимал домовладелец, еврей по фамилии Кременчугский, уже пребывавший со своим семейством в вышеупомянутой “Камчатке”, – и повесил там крест и католическую икону. Совершив эти действия, родители широко распахнули все окна, выходящие на улицу, и в наступающих сумерках осветили квартиру, зажгли все до единой лампы. Надо было создать видимость, что никто в этом доме не боится благородных завоевателей Таращи, более того – встречает их с радостью. Мама присела на подоконнике, отец вышел на улицу и торчал на тротуаре. Всяких проверяющих и допытывающихся надлежало держать как можно дальше от набитой людьми комнатухи, загороженной шкафом.

О сне не могло быть и речи. Состояния собственных нервов я как-то не припоминаю, зато долетавшие сблизи отголоски... Я узнал, как визжит человек, которого убивают холодным оружием. И какой ужасающий, ни на что не похожий звук издает большое зеркало, если по нему заехать окованным прикладом винтовки. (...)

К полякам деникинцы относились холодно-сдержанно, но не враждебно. Еще не было известно, как поступит Пилсудский, существовала надежда – скорее расчёт – на сотрудничество с ним. По отношению к другим нерусским национальностям политика Добровольческой армии на Украине была определена вполне четко: для евреев – ножи и тому подобные орудия, для крестьян, которые уже давно посжигали имения и позабирали усадебную землю, – нагайки. Казни через повешение и расстрелы происходили своим порядком – в Тараще, к счастью,

не публично. И так до самой осени белая Россия сверхуспешно сама себе копала могилу.

Уже порошил снежок, было мокро и холодно, когда я в одиночестве отправился на загородное шоссе поглазеть на тянущуюся с противоположной стороны армию. Молчали обозники на возах, ездовые и наводчики при орудиях, живописно, но мрачно выглядели фигуры кавалеристов в папах и длинных шинелях. В седлах они сидели, как вросшие, а грозными были уже только с виду. Разбитые части Деникина отступали на юг. Сразу же, кажется на следующий день, мы глядели на ободранные и пестрые, сурово марширующие батальоны Красной Армии.

Немедленно началось сведение счетов со сторонниками только что свергнутого порядка, а то и с теми, кто почему-нибудь им не нравился. На стенах появились плакаты, большевики умели позаботиться о пропаганде. Одни картинно изображали жестокости белых – я по сей день помню фотографии чудовищно распухших человеческих тел, иссеченных вдоль и поперек шомполами. Другие плакаты демонстрировали отличную графику. Имелся и такой, где была представлена кучка отошальных фигур, пригнутых к земле подошвой кованого сапога. Надпись гласила: “Рабочие! Ваши жены и дети стонут под солдатским сапогом Пилсудского”. (...)

Пребывание деникинцев в Тараще – это единственный фрагмент воспоминаний о тех временах, который я способен прочно привязать к хронологии, да и то благодаря позднему чтению. Наступления и отступления Добровольческой армии достаточно точно описаны историками, в энциклопедиях тоже легко найти даты. Всё остальное пересыпается в памяти, как стеклышки калейдоскопа, создавая картину мерцающую, красочную и богатую, но поистине не очень-то веселую.

С осени 1918 до весны 1920 г. власть в Тараще сменялась многократно – взрослые уверяли, что где-то около сорока раз. Временами среди бела дня начало смены власти объявляла пулеметная очередь или взрывы гранат где-то на окраинах. В другой раз перестрелка начиналась глубокой ночью и в самом центре. Это означало, что часть гарнизона поменяла политические убеждения. Утренний свет позволял увидеть на здании казармы другое знамя, совсем не похожее на то, которое горделиво реяло накануне вечером, другая часть населения задумывалась, где и как укрыться или, по крайней мере, припрятать что поценнее. И нам случалось перебираться в предместья, а к нашествиям завоевателей на квартиру мы

почти привыкли. Каждое из них бывало, ясное дело, связано со срочной конфискацией всего, что лежало сверху и что можно было затолкать в карманы, вещмешки или кавалерийские сумки. В этом смысле представители разнообразных, взаимоисключающих политических ориентаций проявляли поразительное единство программ. (...)

Той весной мы оба с Янушем полагали, что нам доведется долго шлепать по Гнилому Тикичу, вылавливая карпов. Приближалось лето, и уроки, которые давала нам в Тараще знатная, но скучная учительница, панна Идалия, подверглись столь желанной приостановке. Однако неожиданно-негаданно в Порадовке появился отец. Приехал он вполне нормально, на собственной низкорослой лошадке, непригодной для кавалерии и, стало быть, для конфискации, а сейчас запряженной в легкую коляску.

- Завтра возвращаемся, - с ходу заявил он. - Таращу заняли польские войска...

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

- “На церемонии приведения к присяге кабинета Дональда Туска важны были не только слова, но и жесты. Новые министры приехали в президентский дворец на специальном автобусе [вместо личных лимузинов] (...) Президент Лех Качинский поздравил нового премьера и министров. „Планы были смелые, и я искренне желаю их полного осуществления”, – сказал он. На церемонию не пришел бывший премьер-министр Ярослав Качинский. Сотрудники канцелярии встретили Дональда Туска аплодисментами. „Это была трогательная реакция”, – сказал Туск”. (“Жечпосполита”, 17–18 ноября)
- “Доверие. Это слово стало лейтмотивом программной речи премьер-министра Туска, повторившего его 44 раза. Оно же должно стать девизом правительства на протяжении всего срока его полномочий. Вот отрывок из речи: „Особое внимание мы обратим на наши отношения с Украиной и Россией, а также на ситуацию в Белоруссии. Хотя у нас есть свое собственное мнение о положении в России, мы хотим вести с ней диалог – с такой, какая она есть. Отсутствие диалога не приносит пользы ни Польше, ни России, отрицательно влияет на бизнес и портит репутацию обеих стран на международной арене. Поэтому я убежден, что время перемен к лучшему в наших отношениях уже настало””. (“Газета wyborча”, 24–25 ноября)
- “К власти пришли люди в красных галстуках (...) На политической сцене воцарился красный – цвет революции (...) Политики правящей партии все как один завязали себе галстуки разнообразных оттенков красного (...) В красных галстуках охотно появляются на людях первые лица в государстве – премьер-министр Туск и маршал Сейма Бронислав Коморовский (...) Красные галстуки охотно носят и телеведущие”. (Элиза Ольчик, “Жечпосполита”, 20 ноября)
- Проф. Тони Юдт, историк из Нью-Йоркского университета: “Тот факт, что поляки отстранили от власти „Право и справедливость”, привел в восторг и в то же время удивил Запад. Внезапно все пришли к выводу, что Польша повзрослела. Это страна, которая может погрузиться в абсурд, но в то же

время способна выйти из него собственными силами”.
 (“Дзенник”, 17-18 ноября)

• Проф. Павел Спевак, социолог из Варшавского университета:
 “Польскую политику ожидает период стабилизации в системе, где господствующую позицию будут занимать две крупные партии. Вероятно, такая схема сохранится в течение нескольких созывов Сейма. „Право и справедливость” (ПиС) будет играть в ней роль национал-патриотических правых, а „Гражданская платформа” (ГП) – широкого центра”.
 (“Дзенник”, 17-18 ноября)

• Согласно опросу Лаборатории социологических исследований, проведенному с 30 ноября по 2 декабря, за ГП проголосовали бы 55% избирателей, за ПиС – 24, за “Левых и демократов” – 9, за крестьянскую партию ПСЛ – 8, а за “Самооборону” и “Лигу польских семей” – по 1%. (“Газета wyborcza”, 5 дек.)

• “54% опрошенных ЦИМО считают, что президент Лех Качинский плохо выполняет свои обязанности. Положительно оценивают его 35%. Еще худшие оценки получил возглавлявший правительство Ярослав Качинский – 62% отрицательных. Лучше всего о президенте и бывшем премьер-министре отзываются люди старше 60 лет и жители деревни”.
 (“Газета wyborcza”, 29 ноября)

• В рейтинге [Института изучения общественного мнения и рынка] “Пентора” “За кого ты проголосовал бы на выборах президента Республики Польша?” три первых места заняли: Дональд Туск (42%), бывший премьер-министр Казимеж Марцинкевич (18%) и Лех Качинский (15%). (“Впрост”, 18 ноября)

• Фрэнсис Фукуяма: “Я воспринимаю Польшу как исключительную демократическую страну, достигшую успеха. Вы создали хорошие, солидарные институты. Другое дело, что вы должны провести целый ряд реформ, а ваша политическая жизнь на протяжении последних нескольких лет была очень бурной, находилась под влиянием своего рода демагогии”.
 (“Ньюсуик-Польша”, 26 ноября)

• Проф. Петр Штомпка, член Польской АН, Польской Академии знаний, Европейской академии и Американской академии наук и искусств: “Новое поколение, которое сегодня вступает во взрослую жизнь, значительно менее травмировано, так как его социализация шла уже в рамках современной рыночной и демократической системы. Ему будет легче (...) Эти молодые поляки стали гражданами Европы и мира. Они живут в другом

мире, который заставляет по-другому думать. Они видели страны с глубоко укорененной демократией и процветающей рыночной системой (...) Рано или поздно поколение политиков, одержимых навязчивыми идеями и обремененных жизненными проблемами, должно сойти со сцены и уступить место этой новой волне. Смена поколений произойдет также на уровне власти – выборной власти. Благодаря тому, что наше общество свободно, что в нем действуют плюралистические СМИ и идет небывалый образовательный бум, оно становится все более мудрым и будет принимать автономные решения, опираясь не на порывы и внезапные озарения, а на серьезные размышления (...) Я вижу возможность такой Европы, в которой будет определенная сфера общих стандартов: экономических, правовых, институциональных, валютных (...) а также таких прозаических, как стандарты чистоты, опрятности, порядка, эстетики окружающей среды. Доверие к демократии появится, когда люди будут уверены, что она в безопасности, т.е. ее нельзя подорвать, отменить или уничтожить”. (“Нове ксёнжки”, декабрь)

• “Владислав Бартошевский стал в кабинете Дональда Туска уполномоченным по чрезвычайным внешнеполитическим миссиям. Раньше такой должности в польском правительстве не было (...) Несмотря на то, что он не еврей (...) дважды министр иностранных дел стал почетным гражданином государства Израиль. У него, Праведника среди народов мира, есть свое деревце в Иерусалиме (...) В Германии в число его личных друзей входят, в частности, бывший канцлер Гельмут Коль и президент Рихард фон Вайцзекер (...) Бартошевский удостоился многих важных немецких наград. Его публицистические тексты о нацистских преступлениях хорошо известны в кругах, формирующих общественное мнение”. (“Дзенник”, 21 ноября)

• “„Веселый старичок чувствует себя окрыленным, – сказал Владислав Бартошевский по дороге в свой новый кабинет (...). – Мы хотим, чтобы нас уважали, ибо все мы принадлежим к одной европейской семье. Если Германии придет в голову флиртовать на стороне, за пределами семьи, если она решит закрутить роман, то пусть не делает этого с Российской Федерацией”, – заявил проф. Бартошевский, намекая на проект строительства газопровода по дну Балтийского моря”. (“Дзенник”, 22 ноября)

• Проф. Ежи Помяновский: “Нам уже давно пора избавиться от предрассудка, согласно которому на востоке мы имеем дело с прежней Россией и ее имперскими притязаниями в старом

стиле (...) Дельные сотрудники, которых в окружении Путина хватает, не думают о новых разделах Польши или о нападении на нее – они используют гораздо более мощное оружие. В результате их усилий мы оказались крайне зависимы от России. Польша по-прежнему не суверенна из-за отсутствия стратегического топлива – необходимого условия независимости. Его наличие или доступ к нему для нас жизненно необходимы – иначе за доступ к сырью нам придется платить политическими уступками (...) Для эффективных переговоров с Россией нам нужна хорошая компания – как Евросоюза, так и свободной Украины. Вместе мы должны стремиться к тому, чтобы впустить „Газпром” на наши рынки только после обеспечения себе безопасных поставок сырья из других источников (...) Для ЕС существование на востоке двух политических субъектов вместо одного – тоже вопрос первостепенной важности (...) Пока что мы не используем возможности, которые дает нам соседство Украины”.

(“Дзенник”, 7 дек.)

• “Польша не будет блокировать переговоры по вступлению нашего восточного соседа в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (...) Новый премьер-министр уже официально информировал Кремль о смене позиции нашей страны (...) Первые признаки улучшения отношений между Варшавой и Москвой появились на прошлой неделе, когда Владимир Путин пригласил польского министра сельского хозяйства в Россию на переговоры об отмене эмбарго на импорт польских сельхозпродуктов. Затем последовал дружественный жест со стороны нашего правительства: замминистра государственной казны Ян Бурый сообщил, что российские фирмы смогут участвовать в инвестициях в [польский] энергетический сектор. А [министр иностранных дел] Радослав Сикорский сказал, что правительство проведет с Россией прямые переговоры о строительстве в Польше базы американской ПРО”. (“Дзенник”, 28 ноября)

• “„Мы не должны ставить под сомнение выбор российских граждан”, – заявил Дональд Туск. По его мнению, результаты [российских парламентских выборов] подтверждают „сильную позицию группировки, связанной с президентом Путиным”. Однако, по словам премьера, Польшу беспокоят сигналы о том, что выборы не везде отвечали стандартам демократии”.

(“Жечпосполита”, 4 дек.)

• “Литовские радио и телевидение подчеркивают символическое значение визита Туска. По мнению публицистов, избрав Вильнюс целью своего первого визита,

польский премьер подтвердил готовность реализовать основные совместные польско-литовские проекты в области энергетики и инфраструктуры (...) Хорошие новости относительно моста, который должен соединить энергетические системы Польши и Литвы, пришли и из Брюсселя: Еврокомиссия утвердила план работ". (Яцек Комар, "Газета wyborcza", 1-2 дек.)

- Сразу же после Вильнюса новый премьер-министр нанес визит в Брюссель. На вопрос, можно ли говорить о новой главе, председатель Европейской комиссии Жозе М. Баррозу ответил утвердительно. "Всё говорит о том, что это будет позитивная глава", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Йоханнес Лайтенбергер. ("Жечпосполита" и "Газета wyborcza", 5 дек.)

- "Туск прилетел [в Брюссель], как и обещал, рейсовым самолетом. Чтобы приехать в аэропорт вовремя, он встал в начале пятого. Во время полета он ни на секунду не вздремнул, ничего не ел и, хотя в бизнес-классе пассажирам дают даже вино, попросил только минеральной воды (...) В конце, к удивлению пассажиров, он устроил в коридоре самолета пресс-конференцию. Только после приземления ему было удобнее, чем обычным пассажирам: в аэропорту его ожидала колонна правительственных автомобилей. „По мере возможности я буду так летать", - бросил Туск, прощаясь с журналистами". ("Дзенник", 5 дек.)

- "Через несколько минут после завершения встречи в Брюсселе с Радославом Сикорским министр Сергей Лавров сказал, что хочет "нормальных отношений с Польшей". После получасовой беседы польский министр иностранных дел заявил об "открытии новой главы" в отношениях с Москвой (...) Премьер-министр Туск нанесет визит в Москву в первом квартале будущего года - Лавров передал ему приглашение от Владимира Путина. Ранее в Москву отправится Сикорский (...) Трудными вопросами должна заняться специальная комиссия, которую будут возглавлять люди, не связанные с правительственной администрацией. С польской стороны сопредседателем будет Адам Ротфельд, а с российской - Анатолий Торкунов, ректор Московского государственного института международных отношений". ("Жечпосполита", 8-9 дек.)

- "Ответом на попытки международной изоляции Грузии назвал Михаил Саакашвили пятничный визит в Тбилиси президента Леха Качинского. Нанеся визит в Грузию, Лех Качинский и президент Литвы Валдас Адамкус стали первыми иностранными лидерами, посетившими эту страну после того,

как (...) президент ввел там военное положение (...) На прошлой неделе Саакашвили отменил военное положение". ("Газета выборча", 24-25 ноября)

- "Возвращения в эфир оппозиционного телеканала добивался в Тбилиси (...) Адам Михник, направленный туда в качестве посланника ЕС. В полночь с четверга на пятницу собравшиеся перед зданием „Имеди“ работники канала праздновали его открытие шампанским и салютом. Главный редактор политических программ Георгий Таргамадзе сказал: „В деле „Имеди“ Михник сыграл огромную роль. Все журналисты и работники нашего канала должны быть ему благодарны"". ("Газета выборча", 8-9 дек.)

- "Вчера в Киеве президенты Польши и Украины подписали совместное заявление о сотрудничестве „Современные вызовы – новые аспекты стратегического партнерства"". ("Газета выборча", 7 дек.)

- "Вчера в Одессе президенты Польши и Украины Лех Качинский и Виктор Ющенко заявили, что в середине 2008 года могут начаться первые железнодорожные поставки нефти в Польшу из западноукраинских Бродов. Продолжаются работы по прокладке нового отрезка трубопровода Одесса-Броды, который будет кончаться в Плоцке, что позволит качать сырье дальше, в Гданьск". ("Дзенник", 8-9 дек.)

- "Новым стратегическим инвестором, т.е. практически владельцем Гданьской судоверфи – колыбели „Солидарности" – станет дочерняя фирма „Индустриального союза Донбасса" (...) Ранее, в 2005 году, украинцы купили металлургический комбинат „Ченстохова". Предприятие динамично развивается. Дополнительно на работу были приняты 500 человек, а инвестиции, на которые изначально планировалось выделить 44 млн. злотых, составили около 400 миллионов". ("Пшеглэнд православный", ноябрь)

- "Польская нефтегазовая компания (ПНК), оператор транспортных газопроводов „Газ-систем" и датская компания „Energinet.dk" подписали вчера договор о сотрудничестве при строительстве „Baltic Pipe,, – газопровода, который должен соединить Польшу с Данией. Благодаря трубопроводу станут возможны поставки газа из Норвегии, в т.ч. сырья из месторождений (...) в которых в начале года ПНК приобрела доли". ("Дзенник", 16 ноября)

- "Премьер-министр Дональд Туск и канцлер Ангела Меркель будут убеждать Россию в целесообразности совместных

переговоров по строительству Северного газопровода (...)
который должен пройти в обход Польши. Это главный и
неожиданный итог вчерашнего визита Туска в Берлин”.
(Бартош Т. Ветлинский, “Газета wyborcza”, 12 дек.)

- “В третьем квартале польский ВВП вырос на 6,4%. Это больше,
чем прогнозировали эксперты. По данным министерства
финансов, в четвертом квартале ВВП также вырастет более чем
на 6%”. (“Жечпосполита”, 1-2 дек.)

- По данным Главного статистического управления (ГСУ), в
октябре промышленное производство выросло на 10,6% по
сравнению с тем же периодом прошлого года. Это на один
процентный пункт больше, чем прогнозировали экономисты”.
(“Дзенник”, 21 ноября)

- Анджей Баллаун, начальник отдела маркетинга Генеральной
дирекции государственных лесов: “В деревообрабатывающей
промышленности дефицит сырья достигает уже 5 млн.
кубометров в год (...) В 2007 г. трудности с древесным сырьем
удалось преодолеть только благодаря ураганам, позволившим
увеличить добычу древесины на 3 млн. кубометров (...) На
2008 г. (...) фирмы (...) заказали более 28 млн. кубометров, а мы
располагаем только 26 миллионами (...) Мы производим
столько, сколько позволяет нам природа (...) Мы создали
рабочую группу, которая анализирует, нет ли возможности
увеличить вырубку”. (“Жечпосполита”, 27 ноября)

- “Начинается борьба за Беловежскую пуцу. Экологи и
эксперты Совета Европы бьют тревогу: самый старый в Европе
лес вырубается (...) Еще в феврале 2007 г. Высшая контрольная
палата выявила нарушения в сфере лесного хозяйства на этих
территориях (...) В результате древесина из пуцы лишена
сертификата FSC, означающего, что продукт производится в
хорошо управляемых лесах (...) Право пользования
сертификатом приостановила выдающая его европейская
организация SGS”. (“Дзенник”, 5 дек.)

- “Экологи из World Wildlife Fund собрали 100 тыс. подписей
под петицией о спасении Беловежской пуцы. Вчера они
вручили ее президенту Польши (...) Аркадиуш Шимура,
лесничий, проводник по Беловежскому национальному парку:
„Когда я сюда приехал, то не мог понять местных, которые все
время повторяли, что пуцы уже нет. Через четыре года я начал
работать в Беловежском лесничестве и понял. Они помнили
пуцу, в которой росли деревья диаметром в несколько метров,
а сейчас 70% леса – это новые насаждения (...) Этим молодым
деревьям больше 80 лет – их посадили немцы в 1915–1918 годах.

Есть еще 8 тыс. гектаров 70-летних деревьев, посаженных англичанами, которые арендовали часть пуши в 1926-1930 годах””. (“Дзенник”, 6 дек.)

• “Ночь с четверга на пятницу семеро экологов провели в камере в полицейском участке (...) Это случилось из-за того, что они повесили на гостинице „Кубус”, где проходила конференция по охране Балтийского моря, транспарант „Грязная и истощенная ловом – добро пожаловать на Балтику!” На конференцию приехали семь европейских министров охраны окружающей среды (...) Двое шведов и пятеро поляков из „Гринписа” должны были предстать перед судом в течение 24 часов. Вчера их в наручниках привезли к прокурору (...) В пятницу днем экологов выпустили на свободу”. (“Газета выборча”, 17-18 ноября)

• Збигнев Цвёнкальский, министр юстиции: “В тюрьмах, рассчитанных на 66 тыс. мест, сидят почти 90 тыс. человек. Еще 46 тыс. осужденных, чьи приговоры вступили в законную силу, ждут, когда для них освободится место в тюрьме (...) Чтобы построить тюрьму средних размеров, нужно выложить 70 млн. злотых, а если в ней должно быть отделение для особо опасных преступников, то стоимость увеличивается до 100 миллионов”. (“Ньюсуик-Польша”, 2 дек.)

• “По данным ГСУ, за три квартала 2007 г. расходы предприятий на инвестиции выросли на 31% (...) В третьем квартале уровень безработицы, рассчитанный на основании изучения экономической активности населения (ИЭАН), снизился по сравнению со вторым кварталом с 9,6 до 9%”. (“Дзенник”, 27 ноября)

• “За последний год наша страна опустилась в рейтинге 25 самых привлекательных для инвесторов рынков, публикуемом консалтинговой компанией А.Т.Кearney, с пятого места (...) на 22-е. Это худший результат за последние десять лет (...) Польша потеряла очки как по политическим, так и по экономическим причинам. Респонденты из тысячи фирм, определявшие место в рейтинге привлекательности, отрицательно оценили правление коалиции ПиС, „Самообороны” и „Лиги польских семей”, подчеркнув, что она была настроена неприязненно как к России, так и к ЕС (...) Инвесторы указали также на такие опасности, как сильная коррупция, отсутствие реформ, плохо развитая инфраструктура и растущая стоимость труда”. (Дариуш Стычек, “Дзенник”, 12 дек.)

- “Бывший министр труда и специалист по социальной политике Михал Бони утверждает, что у 10–15% поляков рабочего возраста „руки растут не оттуда” и они вообще не в состоянии взяться за какую бы то ни было работу (...) В Польше нетрудно выжить, если есть 600 злотых [пособия по безработице] и голова на плечах. Есть бесплатные дрова на зиму или хворост в лесу, в пунктах помощи лежат кучи зимних ботинок и рюкзаков, отданных крупными фирмами как неходовой товар, в гипермаркетах и на базарах можно за гроши купить бросовую новую мебель и бытовую технику. Есть секонд-хенды, где в конце недели, когда лучшие вещи уже проданы, килограмм шмотья стоит 2 злотых. 9-процентное пиво продают в гипермаркете „Альберт” по 1,69 зл., а на окраинах любого города есть садоводства, где всегда можно сорвать что-нибудь на суп. Кроме того, приезжает все больше иностранных туристов, на чью жалость всегда можно рассчитывать. Не так уж и плохо живется в Польше с руками „не оттуда””. (Эдита Гетка, “Политика”, 1 дек.)

- “Они едят всё, что только пожелают, не платят и, что хуже всего, могут напачкать. К тому же неизвестно, есть ли у них медкнижки. Как бы то ни было, воробьи из гипермаркета „Карфур” ни за что не хотят оттуда уходить (...) Особенно им понравился отдел сыпучих продуктов, а также фруктово-овощной. Они живут небольшой стайкой (около десяти воробьев), способной поднять ужасный шум (...) „Карфур” обратился к орнитологам за советом, как решить эту проблему”. (“Газета выборча”, 17–18 ноября)

- “Лодзинские продавцы могут по-прежнему давать покупателям целлофановые пакеты. Воевода отменил решение Лодзинского городского совета, запрещающее использовать в торговле бесплатные одноразовые целлофановые пакеты, мотивировав это тем, что такой запрет нарушает свободу хозяйственной деятельности”. (“Газета выборча”, 3 дек.)

- “Польские фирмы находятся в прекрасной финансовой форме. Несмотря на то что они дают своим работникам рекордные прибавки, это пока не ухудшило их показателей. По данным ГСУ, за первые девять месяцев этого года предприятия, на которых работают более 50 человек, заработали 64,6 млрд. злотых чистой прибыли. Это на целых 27,3% больше, чем год назад. При этом важно, что расходы на деятельность фирм по-прежнему росли медленнее, чем доходы: как сообщило ГСУ, они выросли на 14,1%”. (“Дзенник”, 21 ноября)

- “Жертвуя деньги на Церковь, польские предприниматели усиливают свое влияние в бизнесе и политике (...) Какими

мотивами руководствуются спонсоры Церкви? Часто речь идет об обычном маркетинге. Многие бизнесмены подписывают спонсорские договоры, желая разместить на официальных материалах логотип своей фирмы (...) Маркетинговый эффект не интересует Яна Кобылянского, южноамериканского бизнесмена польского происхождения, крупнейшего в Польше спонсора Церкви. Для него финансирование радио „Мария” – это орудие усиления политического влияния (...) „В период правления Пис Кобылянский давал деньги отцу Рыдзыку, а тот оказывал влияние на некоторых правящих политиков, которые, в свою очередь, принимали решение, кто войдет в состав дипломатического корпуса”, – считает бывший посол Польши в Коста-Рике Рышард Шнепф”. (Виктор Ферфецкий, “Впрост”, 18 ноября)

- “По данным ГСУ, растет число людей, посещающих картинные галереи и музеи (начиная с середины 90-х их стало на миллион больше). Все больше поляков ходит в кино (за 10 лет скачок с 22 до 23 млн.), из года в год растет число издаваемых у нас наименований художественной литературы (с 1995 г. рост с 2,5 до 4,8 тысяч). Мы все чаще соприкасаемся с культурой и все больше на нее тратим. Правда, нам все еще далеко до показателей потребления культуры в 1989 г., когда книгу ради удовольствия прочитали 64% поляков (сейчас 58%), в кино побывали 42% (сейчас 33%), а в театре – 18 (сейчас 13)”. (“Ньюсуик-Польша”, 25 ноября)

- “Если в лифте помочиться, может он остановиться. Потому что в нем установлен датчик. Все дело в прототипе механизма, действующего в одном из келецких высотных домов (...) Маленький датчик спрятан в стене шахты лифта (...) Несколько раз в месяц келецкая городская стража штрафует на 50 злотых лиц, „отправляющих естественные надобности в публичных местах””. (“Газета wyborча”, 17-18 ноября)

- По данным ГСУ, в октябре темп роста цен составил 3%, т.е. был самым высоким с апреля 2005 года (...) Причиной неожиданного роста инфляции (...) стали главным образом цены продуктов питания и напитков (...) В течение месяца масло подорожало на 6,3%, сыры на 4,7, мука на 4,1, а хлебобулочные изделия – на 3,3%. В меру стабильными остаются цены на мясо, рост которых не превышает 0,1%”. (“Жечпосполита”, 15 ноября)

- “Уже несколько месяцев подряд инфляция растет в очень быстром темпе. В ноябре она превысила 3,5% (...) – оценивает министерство финансов. Это верхняя граница отклонения от

инфляционной цели Польского национального банка, составляющей 2,5%”. (“Жечпосполита”, 4 дек.)

- В этом году процентные ставки выросли уже в четвертый раз. Вчера Совет монетарной политики повысил их на 0,25 процентного пункта. Тем самым базовая процентная ставка увеличилась с 4,75 до 5%. А ведь еще в начале года ставки были ниже на 1%. (“Газета wyborча”, 29 ноября)

- “Многие молодые рыночные экономики хорошо справляются с созданием новых институтов. Особенно в Восточной Европе этот процесс пошел гораздо лучше, чем кто-либо мог предположить. Люди так гордятся новыми институтами, что привязываются к ним и не желают дальнейшей эволюции. Хорошим примером могут послужить центральные банки. Польской экономике, равно как и польской политике выгоднее всего было бы как можно скорее принять евро. Но поляки слишком гордятся сильным злотым и центральным банком и потому не спешат принимать евро и отдавать власть Европейскому центробанку. Маленькая национальная валюта в большей степени подвержена давлению, шантажу и атакам, чем евро”. (Ги Сорман, “Политика”, 1 дек.)

- “Еврокомиссия призвала новое польское правительство принять дополнительные меры по ограничению бюджетного дефицита. „Для устойчивого снижения дефицита государственных финансов Польша должна как можно скорее исправить бюджет на 2008 год и представить план его консолидации на следующие годы”, – рекомендует Брюссель (...) Пока что процедуру чрезмерного дефицита, примененную к Польше в 2004 г., нельзя закончить (...) По мнению Еврокомиссии, в этом году бюджетный дефицит составит в Польше 2,7% ВВП, однако уже в следующем достигнет 3,2, а в 2009-м – 3,1% ВВП”. (“Дзенник”, 21 ноября)

- “Совет ЕС окончательно решил принять девять новых стран-членов Евросоюза (в т.ч. и Польшу) в Шенгенскую зону (...) Отмена пограничного контроля на границе с Литвой, Словакией, Чехией и Германией не означает ликвидации самой границы. Согласно польскому законодательству, пересекая ее, мы должны иметь при себе паспорт или удостоверение личности (...) Вступление в Шенгенскую зону не позволяет нам пребывать в другой стране ЕС свыше 90 дней и не дает права на работу (если в данной стране у нас его еще нет). В случае нарушения этих правил нам грозит депортация (...) В конце декабря исчезнет пограничный контроль на автомобильных, железнодорожных (...) и речных переходах, а в некоторых случаях – даже на морской границе (...) На границе с Литвой,

Словакией, Чехией и Германией останутся пограничные столбы, но исчезнут таблички с надписями „Государственная граница – проход запрещен” и „Пограничная дорога – въезд запрещен”. Останутся лишь таблички „Пограничная зона” (...) Наша морская граница – это внешняя граница ЕС, охраняемая так же бдительно, как граница с Россией, Белоруссией и Украиной”. („Политика”, 17 ноября)

- “С 21 декабря Польша будет выдавать гражданам Украины два вида виз: трехмесячную шенгенскую для поездок в страны ЕС (за 35 евро) и долгосрочную национальную, дающую право на пребывание в Польше (за 75 евро). От оплат будут освобождены, в частности, государственные служащие, представители органов местного самоуправления, студенты, журналисты, спортсмены, пенсионеры, дети до 18 лет и родственники лиц, легально проживающих в Польше. Польский МИД заверяет, что бесплатные визы получит почти половина украинцев. Ежегодно в Польшу приезжает около миллиона граждан Украины. Начиная с 2003 г. визы для них были бесплатными”. („Газета wyborcza”, 3 дек.)

- “В Белоруссии цена визы вырастет до 60 евро. Для белорусов, чьи зарплаты (особенно в глубинке) гораздо ниже, чем в Польше, такая сумма сделает поездки практически невозможными. Во многом это вина белорусских властей, которые в визовой политике придерживаются принципа „око за око” (в отличие от украинцев, которые не ввели виз, когда Польша, вступив в ЕС, была вынуждена это сделать). На облегченную процедуру получения виз могут рассчитывать живущие в Белоруссии поляки – это должна обеспечить им „карта поляка””. („Тыгодник повсехный”, 9 дек.)

- “Взятки за быстрый въезд из Польши в Россию (...) Евродепутат от Пис Конрад Шиманский требует, чтобы российские службы прекратили притеснять польских граждан. „Наше вступление в Шенгенскую зону – лучший момент для протеста против дискриминации поляков”, – утверждает евродепутат, направивший в связи с этим в Европарламент депутатский запрос (...) Обвинения серьезны: взимание неформальных оплат за помощь в пересечении границы вне очереди, запугивание водителей и пассажиров российскими охранниками, сотрудничающими с пограничными службами, отказы во въезде под предлогом превышения нормы выброса выхлопных газов. Зафиксированы даже случаи избиения. Некоторые из них описаны в опубликованном в мае анализе министерства внутренних дел и администрации”. („Жечпосполита”, 26 ноября)

- “Прямое железнодорожное сообщение Варшава-Иркутск – одна из новинок в нашем расписании (...) Ехать нужно целых пять дней, а билет стоит 189 евро (...) „В прошлом году я ехал в Улан-Удэ (...) и могу сказать, что РЖД – это визитная карточка России. В поездах безопасно и относительно чисто (я ехал самым дешевым классом) (...) Вокзалы – настоящие дворцы, чистенькие и современные (...) По российским поездам можно ставить часы – так точно они ходят! Maciek76””. (“Газета wyborcza”, 1-2 дек.)
- “Украинские железные дороги отменили поезд из Львова в Перемышль – из-за „челноков”. После каждого возвращения из Польши вагоны были в таком состоянии, что годились только в ремонт. По той же причине в июле был отменен поезд Черновцы-Перемышль”. (“Пшеглэнд православный”, ноябрь)
- “Варшавский водитель так хотел убежать от патруля дорожной полиции, что въехал на территорию посольства Российской Федерации (...) Ворота закрылись, и водитель вместе с машиной оказался вне территории Польши (...) „Во время инцидента у ворот российские дипломаты нам очень помогли и отнеслись ко всему происшествию с большой снисходительностью”, – сказала представительница МИДа Алиция Раковская”. (“Дзенник”, 15 ноября)
- “В настоящее время Россия располагает в Польше 19 объектами недвижимости общей площадью почти 200 кв. метров. У Польши в России есть только пять участков (...) В 70-е годы оба государства договорились, что в собственность СССР перейдет полтора десятка зданий в Варшаве, а польская сторона получит взамен недвижимости в Москве. Власти ПНР выполнили свои обязательства, а вот Советский Союз участков не передал (...) Россия не признала наших претензий (...) „Мы планируем консультации на министерском уровне”, – говорит пресс-секретарь российского посольства в Варшаве Владислав Выборнов”. (“Ньюсуик-Польша”, 9 дек.)
- “Сегодня в эфир впервые вышел „Белсат”. Первый независимый телеканал, вещающий на белорусском языке, должен стать для белорусов окном в мир. „Белсат”, формально именуемый каналом „ТВП-Беларусь”, начинает транслировать свои передачи в символический момент, ибо 10 декабря отмечается Международный день прав человека (...) На телеканале уже работают 40 человек в Польше и столько же в Белоруссии. Он финансируется Польским телевидением и МИДом из средств, предназначенных на поддержку развития гражданского общества”. (“Жечпосполита”, 10 дек.)

- Живущий в Лондоне премьер-министр непризнанной Москвой Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев выступил на телеканале ТВП-2. “Мне бы хотелось поблагодарить польский народ за помощь, которую вы нам оказываете”, – сказал чеченский политик. (“Жечпосполита”, 11 дек.)

- “В Европейский суд по правам человека в Страсбурге поступила жалоба на российские суды, отказывающие в реабилитации жертв катынского преступления. Жалобу подало общество „Мемориал” (...) „Исчерпав все правовые возможности в России, мы были вынуждены обратиться в Европейский суд”, – сказал председатель польской комиссии „Мемориала” Александр Гурьянов. Российская военная прокуратура последовательно отказывалась реабилитировать жертв Катыни, утверждая, что документы по этому делу не сохранились в архивах”. (“Жечпосполита”, 30 ноября)

- “Военные прокуроры утверждают, что семеро поляков, несущих службу в Афганистане, нарушили международные конвенции, особенно Гаагскую и Женевскую. Это беспрецедентный случай в послевоенной польской армии. Вчера обвиняемых военнослужащих задержала военная жандармерия (...) 16 августа (...) патруль наехал на мину-ловушку, а затем попал под обстрел противника. Солдаты организовали погоню за нападавшими, которые спрятались в деревне. В ходе операции были использованы минометы. Однако вместо террористов снаряды убили гражданских лиц”. (“Жечпосполита”, 4 дек.)

- “Пятерых моджахедов, подозреваемых в организации самоубийственных терактов, задержали польские военнослужащие в Афганистане (...) Задержание стало возможным благодаря совместным действиям польской армии и афганской службы безопасности”. (“Газета wyborча”, 15 ноября)

- “Польские военнослужащие задержали в Ираке главного подозреваемого в организации теракта, в результате которого в начале ноября погиб сержант Анджей Филипек, а трое других военнослужащих получили ранения”. (“Жечпосполита”, 22 ноября)

- Генерал Эдвард Петшик, посол Польши в Ираке, серьезно раненный в начале октября в результате теракта: “Я возвращаюсь в Багдад, чтобы показать, что терроризм неприемлем. Никто не в состоянии запугать меня. И дело тут не в моем желании или нежелании, а в чувстве долга. Я должен

вернуться в Ирак хотя бы ради того, чтобы террористы не праздновали победу (...) Речь идет о том, чтобы продемонстрировать сильную волю. Это тоже один из способов борьбы с терроризмом. Труднее всего, когда после теракта человек лежит на земле, видит стреляющих людей, осколки снарядов, а сам беззащитен. Я дипломат и не могу стрелять. У меня нет оружия, я завишу от людей, которые меня охраняют. Тем более я должен вернуться”. (“Ньюсуик-Польша”, 2 дек.)

• “По статистике, каждый сотый житель Варшавы – вьетнамец. В гомогенном городе вроде Варшавы это единственное столь ярко выраженное меньшинство. Однако оно остается по-своему невидимым (...) Вьетнамцы создали в Варшаве свой параллельный мир. После волны учебной эмиграции мы уже несколько лет имеем дело с эмиграцией трудовой (...) Они страшно перегружены работой и потому используют христианские религиозные праздники (...) чтобы дешевле арендовать Зал съездов [во Дворце культуры и науки] и организовать там музыкальный вечер для нескольких тысяч человек”. (Иоанна Варша, “Дзенник”, 1–2 дек.)

• “В преддверии Рождества (...) британцы решили запретить эмигрантам из Восточной Европы ловить карпов в прудах и озерах (...) Информационные таблички были поставлены прежде всего с мыслью о поляках и румынах. [На табличках] изображен убитый карп, человек, убегающий с рыбой, и рыба, жарящаяся на сковородке. Все они вписаны в круглый красный ободок запрещающего знака. Рядом помещена информация о (...) штрафе в размере 2,5 тыс. фунтов за поимку с поличным (...) Таблички с такими знаками ставятся вблизи большинства водоемов на территории Великобритании. Представители поддерживающих акцию организаций „Fact One Voice”, „Angling Trade Association”, а также Британского агентства окружающей среды уверены, что в связи с приближающимися праздниками и традицией есть карпа поляки и другие эмигранты из Восточной Европы могут представлять для этого вида серьезную опасность”. (“Дзенник”, 22 ноября)

• “В 2005 г. Польский союз охотников насчитывал 99 тыс. членов (...) Охотники не только выпускают в заказники зайцев (...) но и охраняют их, уменьшая число хищников”. (“Жечпосполита”, 21 ноября)

• “Учащаются случаи отстрела [охраняемых] хищных птиц. Чаще всего находят подстреленных орланов-белохвостов (...) Найден был также один беркут (...) Главные обвинения звучат в адрес охотников (...) Польский союз охотников отверг

предложение сотрудничества с Комитетом охраны орлов”.
(Адам Вайрак, “Газета wyborcza”, 20 ноября)

- “По инициативе экологической организации World Wildlife Fund (WWF) началась программа восстановления популяции рыси. Семь родившихся в неволе котят выпущены на Мазурах. Кроме спасения этих животных, WWF планирует также охранять их естественную среду обитания. В настоящее время в Польше живет около 200 рысей – главным образом в Карпатах и юго-восточной части страны. Чтобы существование вида не находилось под угрозой, их должно быть по меньшей мере 800”. (“Жечпосполита”, 23 ноября)

- “В последний день пребывания на посту и.о. министра охраны окружающей среды Ян Шишко подписал распоряжение, разрешающее весеннюю охоту на вальдшнепов (...) Охота на них была запрещена с момента вступления Польши в Евросоюз”. (“Жечпосполита”, 4 дек.)

- Новый министр охраны окружающей среды Мацей Новицкий в экстренном порядке отменил распоряжение, разрешающее весеннюю охоту на вальдшнепов. Если бы оно осталось в силе, Польше грозил бы очередной процесс в Европейском суде справедливости. (“Газета wyborcza”, 8–9 дек.)

- “„В спешке, без тщательного изучения и убедительных оснований министр охраны окружающей среды разрешил уничтожать места гнездования птиц во время планируемого строительства обьездной дороги в долине Роспуды”, – заявил вчера Варшавский воеводский административный суд. Жалобу на решение бывшего министра охраны окружающей среды Яна Шишко подал уполномоченный по правам человека Януш Кохановский”. (“Газета wyborcza”, 4 дек.)

- Около 300 метров в ширину и полтора десятка километров в длину – таковы размеры жирного пятна, которое появилось на Висле в окрестностях Нешавы в Куявско-Поморском воеводстве. Солярка вытекла из трубопровода, значительная часть которого проложена по дну Вислы. “Эксперты успокаивают: несколько десятков тонн плывущего по Висле солярового масла не угрожают здоровью и жизни людей. Поблизости нет водозаборов питьевого водоснабжения”. Пшемислав Навроцкий: “Пострадают животные, живущие на берегах реки, главным образом птицы. Зима – худшее время для такого заражения местности. Именно тогда в районе Вислы находится особенно много птиц (...) Солярка, оседающая на длинном отрезке берега, может стать причиной смерти тысяч птиц”. (“Дзенник” и “Жечпосполита”, 11 дек.)

• Профессор Мирослава Мароды из Института философии и социологии Варшавского университета – научный редактор польского перевода “Сетевого общества”, первого тома трилогии “Информационная эпоха” социолога из Калифорнийского университета в Беркли Мануэля Кастельса. По мнению многих, эта книга так же важна для понимания современных общественных перемен, как важны были для понимания капитализма “Капитал” Карла Маркса и “Хозяйство и общество” Макса Вебера. По мнению проф. Мароды, “сегодня нет никаких сомнений, что рождается что-то новое, что человечество перешло рубеж, за которым уже нельзя вернуться к прошлому, где все было хорошо знакомо. Нам некуда возвращаться, однако у нас по-прежнему нет ясных планов на будущее и даже на настоящее. Нет никакой гарантии, что растущая сложность современного общества не приведет к краху цивилизации (...) Точно так же иссякают источники современной демократии (...) Это мир, где нет места здравому смыслу, ибо здравый смысл (о чем мы часто забываем) – продукт современной эпохи, которую мы безвозвратно покинули”. (“Политика”, 24 ноября)

КАК ПЕЧАТАЛИ СВОБОДУ

Старые черно-белые фотографии, сделанные четверть с лишним века назад, а на них – молодые, улыбающиеся парни, о которых можно сказать по крайней мере одно: они составляют общность. Некоторые слишком рано умерли, другие разъехались по всему свету, третьи рассорились друг с другом – красиво и некрасиво. Поэтому юбилейной фотографии, вероятно, не будет. Но и старых снимков не исправить.

И хотя у одних сегодня иногда вырывается слово “предатель”, а у других – “оголтелый”, такие эмоции – скорее исключение. Ими страдает, быть может, десятка полтора человек, самых ярых.

А может быть, задумываются они, надо было собраться лет десять-пятнадцать назад, вручить друг другу медали и памятные грамоты, повспоминать, пошутить, пропустить рюмку-другую – и никаких проблем. Понадобился бы большой зал – сотрудинок насчитали не меньше восьмисот.

А может быть, добавляют они, удалось бы тогда установить общую картину прошлого.

В одном все они согласны: это было самое прекрасное время в их жизни. Не только потому, что они были моложе, а просто – самое прекрасное, и никаких гвоздей. Вдобавок они участвовали в деле беспрецедентном. Конечно, до них существовал советский самиздат. Но разве можно сравнивать 10–20 экземпляров на папиросной бумаге, отпечатанных на машинке, с тиражами в несколько тысяч, разрушавшими государственную монополию на печатное слово?

Независимое издательство НОВА^[1] отмечает 30-летие своего существования.

Раскрутка

1977 год. Почти что вчера [в июне 1976] коммунисты подавили рабочие волнения в Радоме и Урсусе, опять напомнили народу дубинками, что за жажду свободы приходится сидеть. Укротили смутьянов. Должна была наступить нормализация.

Не наступила. Горстка интеллигентов сказала власти: ненормальные – это вы. Началась акция помощи репрессированным участникам забастовок. Был создан [в сентябре 1976] Комитет защиты рабочих (КОР – “Комитет обороны роботникув”).

Власть терпела интеллигентские выходки меньше года. Потом за некоторыми из них захлопнулись двери тюрем. От горстки осталась горсточка. Всему этому должен был наступить конец.

Не наступил.

Гжегож Богута, участник акции помощи рабочим, а с 1981 г. – директор НОВой, вспоминает:

– В марте 68-го за перепечатку на машинке студенческих листовок давали несколько лет. Разумеется, мы опасались. Но что-то уже раскручивалось, а человек без воображения – потому что нам сперва, пожалуй, не хватало как раз воображения – иногда хватается за то, что по здравом рассуждении кажется невыполнимым.

Явное преступление

Рассказов о начале – несколько, и каждый имеет право на существование.

Началом могло быть решение издавать неподцензурный литературный журнал “Запис”, которое приняли несколько выдающихся польских писателей и поэтов. Дело было летом 1976 г., а первый номер “Записа” вышел полгода спустя.

Или – первый напечатанный на ротаторе “Информационный бюллетень” КОРа. Это февраль 1977-го.

Или – инициатива люблинских студентов, которые перебросили в Польшу несколько множительных аппаратов, ибо, как вспоминал один из них, Богдан Борусевич, пересъемка запрещенных книг на фото пленку заводи́ла в тупик.

А может, начало положили первые брошюры КОРа, рассказывавшие об июньских событиях 1976-го и судах над рабочими Радома и Урсуса.

Или – второй номер “Записа”, напечатанный уже на ротапринте.

Как бы то ни было, название придумали люблинские студенты. Член Комитета защиты рабочих Мирослав Хоецкий,

возглавлявший НОВую в первые годы ее существования, только заменил слово “неподцензурное” на “независимое”.

И так возникло Независимое издательство НОВА. В августе 1977 г. была опубликована первая книга – “Происхождение системы” Марека Тарневского (Якуба Карпинского) – перепечатка книги, изданной “Институтом литеацким” [издательством парижской “Культуры”]. Несколько сот экземпляров, печать размытая и нечеткая, как обычно на ротаторе.

Ясно, что речь шла о свободе слова. Но не было никакой уверенности: не окажутся ли множительные аппараты той каплей, что переполнит бочку злости коммунистов? Не слишком ли это нелегально? Не явное ли это преступление?

Независимое издание книг и журналов могло стать удобным предлогом для ужесточения репрессий. Ежи Гедройц и Ян Новак-Езёранский сразу сочли, что подпольные типографии – это слишком большой риск.

Но, как вспоминал Конрад Белинский, член КОРа и один из создателей НОВой: “Пока одни предупреждали о последствиях, другие экспериментировали с множительной техникой”.

В типографии ПОРП

На обложке каждой публикации НОВой был напечатан призыв: “От нас самих зависит судьба свободного слова в Польше”.

Первой книгой, открыто переданной польским автором в независимое издательство, стало “Ненапечатанное” Анджея Киёвского. Так была пробита брешь в неписаном законе: польский писатель, выступающий под собственным именем, может печататься только в государственных издательствах – в противном случае его творчество перестает существовать.

– Мы создавали, – вспоминает Богута, – конкуренцию легальным издательствам. У писателей появился выбор: подчиниться цензуре или издать по-настоящему свободную книгу. Получить от государства по заливку, возможно даже потерять работу в каком-нибудь литературном журнале, но взамен оказаться в хорошей компании и иметь настоящих читателей – таких, что готовы рисковать ради книги.

Первой книгой, напечатанной с помощью так называемых знакомств, то есть на государственных полиграфических машинах, был “Польский комплекс” Тадеуша Конвицкого. “Комплекс” был напечатан нелегально в типографии

воеводского комитета ПОРП. Связующим звеном между НОВой и партийным печатником был священник.

Начинали с жалких машин и тиражей в несколько сот экземпляров, а дошли до высокого уровня печати, картонных обложек, иллюстраций и тиражей, иногда превосходивших десять тысяч.

Они были издательством подпольным, то есть по определению политическим, но издавали и литературу как таковую, изысканную поэзию и драматургию.

Они составили обширный план издания переводной литературы. Авторы подбирали так, чтобы среди них было как можно больше писателей из других “бараков” соцлагеря. И прорвали колючую проволоку, охранявшую границы.

Они покупали бумагу, платили зарплату типографам и шоферам. С какого-то момента на книгах стали печатать цену. Когда в середине 80-х Польшу залила волна независимых издательств, пришлось научиться конкуренции. Так был заложен фундамент свободного книжного рынка.

В конце 80-х был создан Консорциум независимых издательств, распределявший дотации, поступавшие с Запада, и подпольный страховой фонд, возмещавший ущерб за конфискованные милицией автомашины и печатные станки. С этого времени провалы перестали быть такими болезненными.

До возникновения “Солидарности” сотрудники и помощники НОВой пережили больше 300 задержаний и почти тысячу обысков, несколько арестов и приговоров. С наступлением военного положения такой статистики никто уже не вёл.

Скандал из-за Милоша

Специалистов по печатному делу было очень мало. Прибавим к этому умение доставать бумагу и инстинкт конспиратора, ибо это был единственный участок оппозиционной деятельности, глубоко скрытый в подполье. Поэтому организаторы полиграфии считали, что профиль издательства должны определять они.

Но настоящее издательство не может существовать без плана. Одного умения крутить рукоятку ротатора недостаточно, чтобы выбирать, какие книги печатать. Так что бывали и скандалы насчет того, кто должен всем этим управлять – техники или составители издательских планов. Технику

держал в своих руках Мирослав Хоецкий. План – главным образом Адам Михник и Ян Вальц.

– Мы спорили, – рассказывает Богута, – печатать ли целиком сборники стихотворений Милоша. Техники хотели подготовить избранное, Михник говорил, что Милоша надо не выбирать, а издавать как есть. Я стоял посередке: я умел печатать, но часто считал: пускай решают, что́ нам издавать, те, кто разбирается не в производстве, а в содержании книг.

Он вспоминает список позиций, которые, по мнению Михника, следовало напечатать. Не помнит только, был ли этот список составлен сразу или его постепенно дополняли и расширяли. Глазами воображения он тогда увидел все эти книги – тоненькие брошюры и толстые тома, которыми можно было бы заполнить полки солидной библиотеки. И подумал: нет, это просто невозможно.

Брандыс, Бродский, Грасс

В конце концов облик НОВой стал формировать издательский план.

– Многие издательства, появившиеся уже после нас, были по сути просто типографиями, – говорит Богута. – Мы делали ставку на весьма осознанный и последовательный выбор наименований.

До 1980 г. были напечатаны, в частности, Стефан Амстердамский, Ежи Анджеевский, Станислав Баранчак, Владислав Бартошевский, Яцек Бохенский, Казимеж Брандыс, Александр Ват, Петр Вежбицкий, Виктор Ворошильский, Густав Герлинг-Грудзинский, Мартин Круль, Адам Михник, Мария Оссовская, Юлиан Стрыйковский, Ян Стшелецкий, Ежи Фицовский, Марек Хласко, Богдан Цивинский, Юзеф Чапский, Януш Шпотанский, Павел Ясеница. Из иностранных авторов: Ален Безансон, Бертольд Брехт, Иосиф Бродский, Гюнтер Грасс, Богумил Грабал, Венедикт Ерофеев, Шандор Копачи, Осип Мандельштам, Йозеф Смрковский, Александр Солженицын. Печатали даже Стефана Жеромского, ибо хотя его произведения и входили в обязательное чтение для школ, но его новеллу “В Вышковском приходе” из времен польско-большевистской войны 1920 г. тогдашняя власть не любила.

Когда осенью 1980 г. Чеславу Милошу была присуждена Нобелевская премия, оказалось, что единственным издателем его книг в Польше была НОВА. Они буквально спасли Польшу от невероятного позора.

Издали они и “Черную книгу цензуры” – читая ее сегодня, понимаешь, почему многие первостепенные польские писатели предпочитали издать свою книгу в НОВой, пусть плохой печати и тиражом в несколько тысяч экземпляров, чем в десятках тысяч в каком-нибудь государственном издательстве. В НОВой были опубликованы показания полковника госбезопасности Юзефа Святло, данные им перед микрофоном “Свободной Европы” в 1954 г. – их актуальность поражала еще в 70-е годы. Там печатались тетради Товарищества научных курсов, выдержки из эмигрантских журналов – “Анекса” и “Культуры” – и составлявшийся в Польше журнал “Критика”. А еще были брошюры под редакцией учителей или врачей.

После 1980 г. к этому внушительному перечню авторов прибавились: Мариан Брандыс, Виткаций (Станислав Игнаций Виткевич), Стефан Киселевский, Лешек Колаковский, Рышард Крыницкий, Станислав Миколайчик, Игорь Неверли, Марек Новаковский, Ксаверий Прушинский, Эдвард Редлинский, Ярослав Марек Рымкевич, Дорота Тераковская, Яцек Тшнадель, Леопольд Тырманд. А из иностранных авторов: Абдурахман Авторханов, Ханна Арендт, Анна Ахматова, Хорст Бинек, Макс Вебер, Владимир Войнович, Курт Воннегут, Вацлав Гавел, Евгений Замятин, Александр Зиновьев, Янош Киш, Артур Кёстлер, Милан Кундера, Владимир Максимов, Жак Маритен, Карл Поппер, Филипп Рот, Жан-Поль Сартр, Виктор Суворов, Варлам Шаламов.

Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской премии по литературе, говорил, что ни одно издательство в мире не обеспечивало ему таких высоких тиражей. И еще – что только польские независимые издательства давали ему уверенность, что читатели покупают его книги не затем, чтобы украсить книжные полки.

Всего НОВА издала более 500 наименований книг. Регулярно печатала полтора десятка журналов и одну еженедельную газету. Выпустила 39 радиопередач на аудиокассетах и 21 кассету с видеофильмами. Плюс фотографии и один календарь.

Гжегож Богута спустя много лет услышал специфический комплимент от генерала Ярузельского: “А знаете ли вы, что я всегда старался читать все издаваемые вами книги?”

Время легальной “Солидарности”

Сотая позиция, вышедшая в НОВой осенью 1980 г., уже при “Солидарности”, стала хорошим поводом, чтобы устроить

большой банкет. Дело происходило в варшавском районе Жолибож. Выступали Михник, Богута и Эва Милевич, член коллегии НОВой. Теперь Богута говорит:

– Из всех сотрудников нашего издательства Эва – самый недооцененный. Я слышал, что она – де только держала у себя книжную лавку и что – то там перевозила на машине. Тот, кто так думает, понятия не имеет, о чем говорит.

Тогда – то они заявили, что “Солидарность” “Солидарностью”, но независимость – прежде всего. Решили избегать всех трех типов цензуры: государственной, церковной и самой новой, профсоюзной. Вспомним тогдашний энтузиазм и доверие к “Солидарности”. Сказать профсоюзу, что и речи быть не может о каком бы то ни было подчинении, было почти так же трудно, как показать фигу команде Эдварда Герека. Но, пожалуй, это одна из причин, по которым НОВой всё удавалось.

Ибо положение снова стало непростым. Прекратились, правда, милицейские репрессии, но кое – кто из сотрудников ушел в политику, ибо политика тогда казалась самым важным. Другие занялись созданием профсоюзной полиграфии, потому что весь народ был с “Солидарностью”. Поэзия? Она рождалась прямо на улицах, как в настоящем производственном романе. Да и у кого нашлось бы время печатать стихи, когда важнее всего были манифесты?

У тех, кто остался, нашлось время и на то и на другое. Во Франкфурте – на – Майне, на самой крупной в мире книжной ярмарке, был даже подписан договор с Ежи Гедройцем, разрешавший НОВой перепечатывать всё, что издаст парижская “Культура”.

Богута вспоминает, что тогда же было решено перебросить часть типографской техники на предприятия – в частности, на “Урсус” под Варшавой, где печатал Эмиль Бронярек.

– Началась война, заводы забастовали. ЗОМО [ОМОН] усмиряло их за несколько дней, но за это время можно было спрятать машины. Это стало началом очередного этапа – НОВА пережила военное положение, не прекращая своей деятельности.

Настоящая индустрия

13 декабря. Богута и Михник интернированы, посадили и многих известных полиграфистов. Уцелела всего лишь горстка. И обросшее легендой название издательства.

Первый станок запустил Анджей Гурский.

Рассказывает Кшиштоф Семенский, печатник:

- Мы немного пришли в себя, посчитали, сколько нас, откопали спасенные машины и взялись за работу. Уже в январе 1982 г. мы напечатали “Вопрос о вине” Карла Ясперса – для подпольной фирмы это быстро. С февраля печатали “Тыгодник Мазовше”. С декабря – “Вакат”, наш собственный подпольный журнал. “Вакат” создавался как бы вдвойне конспиративно – от “красных” и от Гжеся Богуты. У нас не было разрешения программного совета, и мы немного боялись обвинения в узурпации.

Рассуждая здраво – не было у них никаких шансов. Руководители арестованы, милиция словно взбесилась. Семенского арестовали в 1983 г. прямо в типографии, в Островике под Варшавой. Госбезопасность конфисковала две офсетных машины и множительный аппарат. Пропаганда устроила телешоу: раскрыта типография НОВой, где вдобавок нашли... оружие. Это был не единственный такой серьезный провал.

И всё-таки 80-е годы – это время, когда НОВА и другие подпольные издательства превращаются из мануфактур в настоящую индустрию. Прекрасно налажены нелегальные связи. С Запада удается перебрасывать хорошие печатные станки. Бумагу покупали уже не отдельными рулонами, а сотнями килограммов. То же самое и с типографской краской. Сеть распространителей насчитывала тысячи человек.

- Некоторые издательства, – говорит Богута, – выпускали больше литературы, чем мы, но, например, печатали только “по знакомству”, так что когда гэбуха рвала их связи с государственной полиграфией, они оставались ни с чем. Мы использовали любые возможности. Бумагу покупали по ценам гораздо выше официальных, оптом, прямо из магазинов. То же самое и с бензином – вроде бы он продавался только по карточкам, а вся Польша ездила на “левом” бензине. В экономике дефицита мы действовали, как на свободном рынке.

Остались воспоминания

Был теплый май 1989 г. – уже прошли переговоры “круглого стола”. На книжной ярмарке в варшавском Дворце культуры, неподалеку от официальных стендов издателей со всего мира, в боковом коридоре стояли стенды независимых польских издательств. Выставлялись книги, изданные, возможно, убого, даже сермяжно, но у этих-то стендов и толпилось больше всего

посетителей. В Польшу вот-вот должна была вернуться свобода слова.

Многим подпольным издательствам не удалось протиснуться в игольное ушко свободного рынка. Богута говорит:

– Мне жаловаться грех: я стал директором Государственного научного издательства. Я очень боялся. Думал: что я скажу этим людям? Они же знают в сто раз больше меня. А я что умею? Скрываться от гэбухи, крутить рукоятку ротатора, брошюровать книги, таскать упакованные экземпляры. И мало что сверх того.

Он также считает, что у подпольных издательств не было особых шансов на свободном рынке:

– Не хочу присоединяться к модному сегодня поношению времен перелома. Но хорошо помню, что когда я представил себе издание книг в кредит и даже отправился в банк, то сразу понял, что проценты меня утопят, что я никогда не смогу вернуть вложенных денег. А тем временем у кого-то нашелся родич – вице-президент банка, и он сразу знал, как действовать. Другой воспользовался любезностью профсоюзного издательства, а сам занялся распространением – риска никакого, при этом 40% прибыли и ни гроша вложений. Равного старта на свободном рынке у нас не было, и мы не верили, что он станет таким свободным. Если бы НОВА могла не вкладывать средства, не рисковать, а только зарабатывать, то сейчас мы были бы крезами.

Это время действительно стало причиной разочарования. Ибо одни вернулись к прежним занятиям, другие сменили профессию, а кому-то вообще не досталось никаких шансов. Умыли руки... от краски, как говаривал Теось Клинецвич, подпольщик, связанный с НОВой.

– Наверное, – говорит Богута, – надо было тогда о них подумать.

– Надо было, – соглашается Семенский. – Но большинство из нас ринулось участвовать в переменах. Мы сами закрыли эту главу. Остались воспоминания.

Когда пришел конец – неизвестно. Многим кажется, что это произошло 9 июня 1990 г., когда в Польше наконец отменили цензуру. По их мнению, среди достижений НОВой останутся лишь те позиции, на которых нет официального библиографического номера. А те, что с номерами, – хотя выпустили их немало, а среди авторов были Амос Оз и Джон Ле

Карре, – уже не считаются. К ним это не имело отношения. Двери захлопнулись навсегда.

А впрочем – легально НОВА действовала недолго. Какое издательство в состоянии содержать армию из 800 сотрудников? Кому сегодня под силу издавать исторические, общественно-политические книги и утонченную поэзию, да еще зарабатывать на этом?

1. НОВА – сокращение от „Незалежна официна издавна“, где последнее А – от окончаний женского рода всех трех слов, а в целом означает “новая”, так и склоняется. – Ред.

НАШ ДРУГ МАРКУШ

Превратить всё в шутку и ни за какие коврижки не впадать в мартирологию — таким был Ежи Маркушевский

Он был одним из отцов-основателей Студенческого театра сатириков (СТС) и одним из создателей сатирического радиожурнала “Иллюстрированный веселый еженедельник”. А когда он не мог веселить театральную, а потом и радиопублику, ибо терпение пээнэровских властей в конце концов исчерпывалось и его выгоняли с каждой должности, — то он с таким же энтузиазмом, хоть и без гроша за душой, принимался веселить друзей.

У него был простой рецепт дружбы. Во-первых, стоять за друзей стеной, особенно когда им не везет: власть ли коммунистическая преследует или попросту стали стары и больны. Во-вторых, развеселить их. И так он упорствовал, что, например, в октябре 1977 г. решил принять участие в голодовке в костеле св. Креста в защиту арестованных членов “Хартии-77”, ибо “надо же кому-нибудь веселить голодающих”.

Таков был его образ жизни: всё превратить в шутку, в анекдот, никогда не терять чувства юмора и ни за какие коврижки не впадать в мартирологию. Власть, однако, относилась к нему всерьез: в ночь на 13 декабря 1981 г. его интернировали (а с ним из дома забрали, надев наручники, 17 летнего сына Мачека). Он оказался в первой группе интернированных, которых вертолетом везли в лагерь в Явоже. На аэродроме солдаты держали их на прицеле, и один из советников “Солидарности” воскликнул: “Поляки поляков сажают, поляки поляков гнетут!” Но не таков был стиль Маркуша — как любовно называли его друзья. Перед тем, как подняться на борт вертолета, он сказал солдату: “А теперь поссым, как поляк с поляком”.^[1]

Он был фантастическим сторонником союза порядочных людей, таких, которые, как у Окуджавы, берутся за руки, чтоб “не пропасть поодиночке”.

— Не скрою, что я человек своей компании, — говорил нам Маркушевский. — Мне в жизни много раз везло, потому что меня чаще всего заносило к людям, с которыми стоит дружить.

Огромное влияние на мою жизнь всегда оказывали компанейские отношения. В оппозиции я оказался, потому что там компания была получше. Да и дома, в семье, никто на меня не давил. Моя мать, даже когда меня вышвырнули с работы, считала, что раз я на “ты” с паном Конвицким и паном Дыгатом, то достиг вершин карьеры, об остальном можно не беспокоиться. А когда сажали в тюрьму Адама Михника и Яцека Куроня, она шла в костел и заказывала за них заздравный молебен. При этом проверяла, назовет ли их ксендз по имени и фамилии. Если колебался, забирала деньги обратно.

Пролетариат — это я

Биография у Ежи Маркушевского, парня из варшавского Старого Города, была такая — это он сам так выражался, — как будто ее сочинила Ванда Василевская: отец — безработный, мать — в прислугах. Семью в основном содержала мать (ей приходилось скрывать, что у нее грудной ребенок, ибо “господа этого не любили”). Бабушка приносила его на площадку черного хода, а мать выскальзывала, чтобы накормить его грудью.

— У меня было прекрасное детство, и мама любила меня безумной любовью, — рассказывал он. — Ее любовь была мотором моей жизни и постоянного хорошего настроения. Никогда в жизни я не ходил голодный — может, потому что мать часто работала кухаркой. Сама она была из очень бедной семьи. Тадеуш Конвицкий считал, что я себе придумываю пролетарское происхождение. Мама моя действительно отличалась каким-то буржуазным духом и воистину господским поведением. Она меня предостерегала: “Сынок, никогда не откладывай на последнюю минуту, потому что любая минута — последняя”. Она считала, что если есть деньги, то их надо быстро тратить: “Если есть, то это шорох”.

Мариан Брандыс описал в дневнике, как ГБ по ночам мучило его жену, актрису Халину Миколайскую, члена Комитета защиты рабочих (КОР), хамскими телефонными звонками. И с благодарностью вспоминал, что Юрек Маркушевский, который, кстати, часто появляется в его записках в роли верного друга, подсказал ему ответ, до которого сам Брандыс никогда бы не додумался, а оказался он поразительно успешным: “Если у вас так много времени, чтобы нам названивать, то научите, пожалуйста, свою бабушку ссать в бутылку”.

Это была поговорка матери Маркушевского, обладавшей необычайным словотворческим талантом, побеждавшей во всех словесных стычках с соседями, изобретавшей многоэтажную брань и картинные проклятия. Когда,

например, ее что-то возмущало, она говорила: “Донышко от жопы отрывается”. Миколайской этот афоризм так понравился, что она употребляла его всегда, когда хотела сказать, что человек замечает обиду или несправедливость только тогда, когда они обрушатся на него самого (“тогда только, когда от твоей жопы донышко оторвется...”).

Маркуш любил рассказывать, как в студенческие годы (он закончил актерский и режиссерский факультеты Высшего государственного театрального училища и учился в Варшавском университете на отделении истории искусства) он извлекал выгоду из своего рабочего происхождения.

— Я был аристократом тех времен, — вспоминал он. — Я не каялся, когда мне устраивали персональное дело за “буржуазное отношение к девушкам” или за пренебрежение к учебе, так как оказалось, что мой студбилет — в жутком состоянии после того, как я на Мазурах упал с ним в воду. Среди студентов-искусствоведов нас было двое рабочего происхождения, и я знал, что исключить меня не могут, потому что тогда это число уменьшилось бы вполовину. Но в партии я никогда не был — попросту никто мне и не предлагал.

О мой Маркушевский, распускайся...

В студенческие годы он был активистом Союза польской молодежи [СПМ, польского комсомола], отвечал за культуру, что на практике означало доставать костюмы для ансамблей песни и пляски. Однажды, было это в 1954 г., он собрал нескольких студентов, которые до того выступали на праздничных вечерах, и убедил их поставить сатирический спектакль. Так родился СТС.

— Мы возникли как театр, стоящий на защите настоящей революции, атаковали конформизм и мещанство, считали, что СПМ и партия недостаточно революционны, — рассказывал нам Маркушевский. — Только со временем мы, к счастью, эволюционировали к тому, чтобы выступать в защиту общества от власти.

СТС, особенно после октября 56 го, был меккой будущих оппозиционеров и, как это определил Адам Михник, “кабаре нравственной тревоги”^[2]. В Варшаве говорили: “Идем в СТС, посмотрим, что слышно в Польше”. Там разоблачали нелепости власти, пытались вернуть словам их первоначальный смысл, пели песни о гражданском долге интеллигентов.

Сам Маркушевский из всех спектаклей СТС больше всего любил “Продажную оперу” Анджея Ярецкого (было всего лишь несколько закрытых просмотров, так как спектакль был запрещен цензурой). В ней рассказывалось о делегации польских экономистов, посланных в Париж с миссией спасти польское народное хозяйство. Они продают там ветчину, водку, хрусталь, наконец пускают с молотка отечество, а затем польско-чешскую границу, гору Гевонт, профсоюзы, зубров (и всё это под лозунгом: “Кто укупит строй без нас? Вот вам случай только раз!”). Это был ответ первому секретарю ЦК ПОРП Владиславу Гомулке, который постоянно подчеркивал, что государство вкладывает деньги в гражданина. Участники СТС подсчитали, что если бы устроить всеобщую распродажу, то каждый поляк получил бы миллион долларов и мог бы доживать свои дни в Париже.

Лешек Колаковский, который вот уже полвека дружит с Маркушевским, рассказывал нам, что не пропустил ни одного спектакля СТС. Особенно он обожал песню про макароны в исполнении всей труппы. Сначала восхваляли и превозносили до небес макароны на четырех яйцах, самого лучшего качества, в следующем куплете макароны были уже на трех яйцах, в третьем — на двух, потом — на одном, а в самом конце — вовсе без яиц. И все это пелось с невероятным энтузиазмом.

В СТС Маркушевский познакомился со своей будущей женой, художницей Зофьей Гуральчик, с которой прожил до самой смерти. Он любил повторять, что этот брак был самым лучшим, что с ним случилось за всю жизнь. Ярослав Абрамов-Неверли, выступая на его похоронах, напомнил песенки, сочиненные друзьями из СТС на свадьбу Зоси и Юрека — “О мой Маркушевский, распускайся [на мотив известной польской песни “О мой розмаринчик, распускайся...”] — и на день рожденья их сына Мачека. [В обеих всячески рифмуется фамилия Гуральчик.]

Во время мартовских событий 1968 г. множество людей приходило в СТС как в убежище. Там собирали деньги на арестованных студентов. А Маркушевский регулярно ходил на варшавский Гданьский вокзал, прощаясь с друзьями, вынужденными эмигрировать (это требовало тогда немалой отваги, власть рассматривала участие в этих прощаньях как “поддержку сионистов”).

Хелена Леманская, создатель Польской кинохроники, рассказывала нам, как вскоре после того, как ей вручили бумагу об увольнении за ненадлежащее происхождение, в киностудии

появился Маркушевский, с которым она почти и не была знакома, и демонстративно вручил ей букет роз.

Его друг Казимеж Брандыс — который во время оккупации не пошел в гетто, а запросто ходил по улицам, — в 1968 г., когда “неизвестные преступники” избили Стефана Киселевского, стал бояться выходить из дома. Маркушевский сказал нам, что для него тот факт, что можно больше бояться в собственной, вроде бы свободной стране, чем в оккупированной, — самое жуткое воспоминание о марте 1968-го.

— Я стыдился, что я — как гой — в безопасности, — говорил он нам. И когда встречал у каких-нибудь знакомых Юлиана Стрыйковского, то провожал его домой, потому что боялся за него.

Однако Маркуш не был бы самим собой, если бы даже из самых трагических переживаний не высек искру какого-нибудь анекдота. Так, он рассказывал, что спросил Станислава Дыгата, по которому 8 марта 1968 г. возле университета прошла милицейская дубинка: “Что чувствует польский писатель, которого бьет польский милиционер?” — а тот ответил: “Гротгер^[3] бы этого не написал”.

В 1971 г., когда власть решила усмирить СТС, подчинив его “Театру розмаитости [всякой всячины]”, Маркушевский из театра ушел.

Роскошные годы и волчий билет

В 1964 г. власти не пропустили пьесу по рассказу Казимежа Брандыса “Интервью с Бельмайером” в постановке Маркушевского. От знакомых он узнал, что снять спектакль приказал лично Ежи Путрамент в наказание за то, что Брандыс не подписал какого-то обращения за мир во всем мире. А узнав — не сохранил в секрете. За это его выгнали с поста директор Театра Польского радио. Мать его отреагировала так: “Война так война, начинаю гнать самогон, надо же тебе гостей принимать”.

Но простым режиссером на радио он остался. В начале 70 х принял участие в создании на “Тройке” (третьей программе) знаменитого сатирического радиожурнала “Иллюстрированный веселый еженедельник” (ИВЕ) — ради него значительная часть поляков закупила радиоприемники с УКВ, где передавали этот журнал (“Ах, если бы мы тогда имели долю в продаже радиоприемников, — вздыхал Маркуш, — сейчас были бы богачами”). Фразы из журнала типа “День

добрый, я из „Кобры””, “Пан Сулек, я вас обожаю. — Тихо, я знаю” или “Чтоб была баба, чтоб был мужик и чтоб было смешно” стали поговорками. Яцек Куронь рассказывал нам, что впервые услышал ИВЕ в тюрьме. Влез на парашу, приложил ухо к репродуктору, чтобы увериться, что хорошо слышит: не мог поверить, что цензура пропустила что-то настолько антисоциалистическое.

— ИВЕ был антисоциалистическим в том смысле, — объяснял нам Маркуш, — что был равнодушен к “действительности” и атаковал ложь пропаганды. Я там запустил Яна Тадеуша Станиславского как профессора прикладной мнемологии с его известными по СТС лекциями о превосходстве рождественских праздников. Успех ИВЕ был ошеломляющим. Я тогда прекрасно зарабатывал, на дворе были роскошные 70-е годы, которые для меня кончились в 1974-м, когда власть разобралась, что мы над ней издеваемся. Может, и не догадалась бы, если б не то, что на Новый год мы устроили на “Тройке” целый вечер, а в это время по первой программе шла новогодняя речь Герека. И она совпала с лекцией Станиславского. Люди переключались с третьей программы на первую и обратно и безумно веселились. Это разнеслось по свету, и начались неприятности.

Вскоре после этого Маркушевский подписал “письмо 59-ти” — протест против изменений конституции. Цензура запретила его имя, так что его не упоминали даже при повторениях поставленных им передач. Работать он не мог. Семья жила на заработки жены, которая рисовала на фарфоре и делала книжные иллюстрации. Маркушевский всегда вспоминал эти времена с ностальгией и говорил, что любит жить на содержании женщин.

Юрек, ободряющая доброжелательность

Когда возник Комитет защиты рабочих (КОР), Маркушевский стал его сотрудником: распространял литературу, подписывал письма протеста. Летом, когда он уезжал на Мазуры, где с ним нельзя было связаться (телефон тогда был редким благом, а мобильники никому и не снились), он просил Мариана Брандыса располагать его подписью всегда, когда тот сочтет нужным.

О том, что немалая часть варшавских артистических кругов в те времена боялась с ним общаться, а некоторые коллеги переходили на другую сторону улицы, лишь бы не поздороваться с человеком, за которым гэдэшники, может быть, ходят по пятам, Маркушевский говорить не любил. Зато

любил рассказывать, что Йонаш Кофта предназначал в его пользу доходы от одного из своих концертов в месяц.

У него было много времени на чтение и культивирование дружбы. Он научился готовить разные виды супов и гуляша: дешево и сытно.

“Приехал Юрек Маркушевский, — записал Мариан Брандыс в дневнике того времени. — Я сразу почувствовал, как меня окутывает его теплая, ободряющая доброжелательность. Он страшно огорчился, что я так давно ничего не пишу. Его искренняя забота сразу подняла у меня настроение, заставила меня осознать, что я должен писать, что то, что я пишу, нужно”. И писал. Пятый том своей саги “Конец мира легкой кавалерии” он посвятил Юреку.

А друживший с Маркушевским Виктор Ворошильский сделал его героем романа для детей “Малый ищет Большого”. Он выступает там как высокий смуглый блондин с пышными усами, всегда в цилиндре и плаще-пелерине. Кроме этого всё остальное сходится: герой носит фамилию Маркушевский, работает режиссером в фантастическом театре, которому отдает все свои силы, что не значит, будто при необходимости его нельзя вызвать со сцены. К нему Малый обращается с просьбой помочь найти Большого — старшего брата, сбежавшего из дому. Все кончается, конечно, хэппи-эндом, ибо — как говаривал пан режиссер Маркушевский — “когда действительность оказывает слишком большое сопротивление, ее должен заменить наилучший театр”.

Патриоты и клозеты

Когда его выпустили из лагеря интернированных, он счел необходимым регулярно встречаться со скрывавшимся главой подпольной “Солидарности” Мазовии Збигневом Буяком, чтобы поднимать ему настроение (их познакомил во времена легальной “Солидарности” Адам Михник, который при этом пророчески сказал: “Я привел тебя, Збышек, к такому человеку, который включается в любое проигранное дело, — это может тебе в будущем пригодиться”). Ему удалось убедить в нужности этих встреч Эву Кулик, отвечавшую за весь “тыл” подпольной жизни и за безопасность Буяка, который находился в числе особо разыскиваемых лиц.

— Конспирация — это стрессы и напряжение, — рассказывал нам Буяк, — а с Юреком я встречался, чтобы отдохнуть, поболтать, пошутить. Если бы не он и его рассказы, я,

пожалуй, не пережил бы подпольные времена в таком хорошем состоянии.

А что это были за рассказы? Вот, например, о сопротивлении в лагере интернированных:

— Был с нами Анатолий Лавина, который во времена “Солидарности” учредил организацию, занимавшуюся защитой прав заключенных. Толек знал наизусть всю Женевскую конвенцию. Я сказал, что, по-моему, нельзя устраивать лагерь для интернированных на болоте, а тут явно болото, потому что иначе откуда бы взялся комар. Я имел в виду Михала Комара, но Толеку это не помешало. Он написал письмо протеста: держать нас в Бялоленке противоречит Женевской конвенции — и ссылался при этом на комаров. А потом по “Свободной Европе” крайне серьезно рассказывал, как мы организовали протест против нарушения этой конвенции.

Или о непреклонности:

— В лагере были крайне грязные уборные, и кое-кто из нас разумно сказал, что надо их вымыть. Но патриоты ответили: мы не будем мыть клозеты, которыми пользуются кроме нас милиционеры. Мы провели голосование — у нас там была демократия, а Владислав Бартошевский был нашим старостой. Увы, большинство проголосовало за патриотов. На следующий день встаю на рассвете, гляжу: профессор математики Рышард Герчинский и писатель Анджей Киёвский потихоньку моют уборную, пока патриоты не проснулись.

Когда быть антикоммунистом стало безопасно, Маркуш любил наперекор всем повторять, что ему ушедший строй нравился:

— Энтузиазм масс, шествия, торжественные заседания, уличные демонстрации, люди кончали школы, получали квартиры, генералы принимали “новую действительность” — мне были близки социалистические идеи. Я радовался, что построили трассу “Восток—Запад” и всей душой переживал восстановление Старого Города. У меня не было ощущения, что я живу поработанным. Таковы, кстати, были ощущения у большинства поляков. В массе они поддерживали новый строй. Лишь малая часть общества продолжала сопротивляться.

Нечего кривиться

В свободной Польше он быстро пришел к выводу, что должен выполнять ту же задачу, которую поставил себе во времена ПНР: стоять на страже интеллигентской этики и

культивировать дружбу. Он сделал цикл телевизионных бесед со своими друзьями, которых считал важнейшими в сохранении этой этики: с Лешekom Колаковским (потом их издал “Знак” как три серии “мини-лекций о максим-вопросах”), Казимежем Брандысом (который, как и его брат Мариан, говорил, что Юрек знает его биографию лучше него самого), Тадеушем Конвицким.

В прошлом году, когда друзья Адама Михника к его 60 летию издали ему в подарок книгу с посвященными ему текстами, статьями и поздравлениями (тираж 200 нумерованных экземпляров), Юрек написал так:

“Мы познакомились 35 лет назад и сразу подружились. Из младшего товарища ты стал для меня эталоном, как метр из Севра под Парижем. Думаю, что на всём протяжении нашего знакомства я был тебе верным другом. Нам были близки одни и те же люди: братья Брандысы, Тадек Конвицкий, Лешек Колаковский. Они оказывали влияние на нас обоих. Помню, как я втолковывал тебе, что вы, люди из оппозиции и Комитета защиты рабочих, обречены на успех, потому что вокруг вас — сплошные красотики. Может, не всё вышло так, как должно было быть, но нечего кривиться. Я бы хотел, чтобы ты не волновался и пренебрегал всяким подкусыванием. Переживем и это. В дружбе, с друзьями всё можно пережить”.

Мы тоже имели честь дружить с Юреком Маркушевским. Одной из нас (Анне Биконт), когда ее дочери были маленькие и она по вечерам не выходила из дому, он пел песню, которую любила напевать его мать: “Мама ночи напролет пляшет и поет, потому что без затей скучно для детей”. Он гордился своей матерью, говорил, что от нее унаследовал острый язык и надлежащее понимание того, что в жизни важно.

Последний раз мы с ним виделись за несколько дней до удара, после которого он уже до самой смерти (в ночь с 15 на 16 октября) не пришел в сознание. Был он тогда такой же, как обычно, — в хорошем настроении, остроумный, сердечный к друзьям и язвительный к врагам. Маркушевский никогда не любил жаловаться, но на прощанье неожиданно сказал:

— А знаете, что я себя чувствую хуже, чем Зося?

В этом была чуточка печали, но больше гордости за то, что его жена, которая в последнее время тяжело болела, благодаря его любви и заботе чувствует себя лучше, чем он.

Мир без Маркуша никогда не будет таким, как был. И, наверное, будет печальней.

1. Как восклицание советника “Солидарности”, так и шутка Маркушевского идут от известной фразы Леха Валенсы, который в течение 1981 года неоднократно предлагал власти поговорить “как поляк с поляком”. — Пер.
2. По аналогии с “кино нравственной тревоги” конца 70-х годов. — Пер.
3. Артур Гротгер (1837-1867) — живописец и график, автор работ на темы национально-освободительной борьбы. — Пер.

МОЖНО ЛИ ЖИТЬ ЗА СЧЕТ СМЕХА?

“Хотите билет? Шутить изволите!”

Холодный осенний вечер. Воскресенье. Остановка “Фоксаль”. Я в компании друзей направляюсь в дом культуры “На Смольной”. Настроение отличное. В такой день трудно придумать развлечение лучше, чем “Полигон кабаре” в исполнении звезд. Сегодня, к примеру, на сцене появятся “Кабаре нравственной тревоги”, “Ни гугу” и “Храби”. Этого любителям хорошего юмора не нужно повторять два раза. Билетов у нас нет, и мы предусмотрительно приходим за 40 минут до начала. Однако на месте оказывается, что таких предусмотрительных, как мы, собралась целая толпа, и шансов попасть внутрь практически нет. Внутри находятся те счастливчики, которые купили билет по крайней мере две недели назад, когда началась предварительная продажа. Один из организаторов объясняет: “На кабаре к нам всегда приходят толпы народу. Все до единого билеты раскупаются еще в предварительной продаже”. Это подтверждают и бармены из “Погребка под Харендой”, которые тоже занимаются продажей билетов: “У нас кабаре выступают в среднем два раза в неделю, но часто интерес бывает так велик, что приходится устраивать дополнительные спектакли – в тот же день, перед заранее запланированными”. На вопрос, хороший ли это бизнес, организаторы единодушно отвечают: “Сейчас – самый лучший!”

Возрождение кабаре

Почему же именно сейчас кабаре переживают такой бум? В Польше у этого эстрадного жанра есть давние и славные традиции – начиная с “Зеленого шарика”, “Квипрокво” и “Дудека” и кончая “Теєм”. На протяжении всего XX века кабаре пользовалось огромной популярностью. В годы ПНР “самый веселый барак соцлагеря” регулярно раздражался всенародным смехом – хотя бы на ежегодных опольских Кабаретонах. Однако если присмотреться более внимательно, то взрыв нынешней кабаретной бомбы можно сравнить только с межвоенным периодом. Тогда, как и сейчас, кабаре вырастали как грибы после дождя. Независимая Польша хотела смеяться и развлекаться. А что сейчас? Социальный психолог Войцех

Кулеша считает, что это связано с некоторой стабилизацией нашего положения на международной арене: “Мы состоялись как народ и общество. У нас нет серьезных внешних угроз. Поэтому теперь мы можем заняться своими делами и развлечениями”. Это мнение подтверждает тот факт, что сегодня уже не встретишь политического кабаре, хотя нынешнее [к моменту выхода номера – уже предыдущее. – Ред.] правительство сумело воскресить и этот вид искусства. Однако, как правило, современные кабареисты предпочитают смеяться над чем-нибудь другим. Почему? “По большому счету это просто не окупается!” – говорит Иоанна Колачковская из кабаре “Храби” (бывшего кабаре “Потом”). А современное кабаре, судя по всему, окупается очень неплохо.

“Игра” стоит свеч

Можно без преувеличения сказать, что на представления кабаре зрители валят валом. “Иногда на наши выступления приходит столько народу, что люди толпятся возле самой сцены, сидят на полу”, – рассказывает Иоанна Колачковская. Когда я говорю, что это, наверное, должно радовать: ведь все эти зрители покупают билеты, – она плутовски улыбается и отрезает: “Не жалуемся”. Продолжать разговор о заработках она не хочет, как и многие артисты других популярных кабаре. Почему? Одни утверждают, что выступают ради собственного удовольствия, рассматривая кабаре как хобби или жизненную идеологию, а деньги для них – лишь приятное дополнение, так что и говорить не о чем. Другие не хотят подпитывать появляющуюся, по их мнению, конкуренцию, нежелательную в кругу связанных дружескими отношениями артистов кабаре. Больше всех сообщили мне члены “Кабаре молодых господ”. Оказывается, простой ответ дать трудно: “Бывает, что кабаре – это серия выступлений в самых разных местах, где за представление тебе платят от двух до четырех тысяч злотых, а в другой раз – неожиданная удача, когда получаешь сразу 6 тысяч, зато иногда – тянущиеся неделями долгие вечера перед телевизором. Могу сказать только одно: в накладе мы не остаемся, и на бензин нам тоже хватает”.

К этому прибавляются постоянные смотры кабаре (ПАКА, “Мулатка”), где премии порой достигают полутора десятков тысяч злотых, а также множество более мелких конкурсов, зачастую тоже щедро оплачиваемых. Не стоит забывать и о выступлениях по телевидению и радио. Всё это связано с денежным вознаграждением. У таких коллективов, как “Юреки” или “Кабаре нравственной тревоги”, были даже свои

постоянные телепередачи (например, “Еженедельник нравственной тревоги”).

Но все же главное – это “живые” выступления перед публикой. Что касается максимальной стоимости таких выступлений, то я узнала, что сегодня самые популярные кабаре берут до 16 тысяч злотых. Лидируют здесь “Кабаре нравственной тревоги” и “Ни гу-гу”, которым явно не на что жаловаться, особенно принимая во внимание, что прибыль приходится делить только на троих. Сейчас члены коллектива жалуются лишь на отсутствие свободного времени, так как бывают в разъездах по две-три недели, иногда давая за это время по 30 концертов. Все чаще им приходится кому-нибудь отказывать: некоторые сроки просто невозможно совместить. Но они играют, зная, что такая популярность не будет продолжаться вечно.

Кабаре наверняка не приносит убытка и организаторам. Как я уже говорила, билеты раскупаются мгновенно, а зрители платят от 15 злотых в домах культуры до 45-50 злотых на клубных сценах. На небольшие скидки (около 5 злотых) могут рассчитывать студенты. Однако часто зрители оставляют в таких клубах больше денег, так как во время выступления им предлагают съесть отбивную или выпить кружку пива.

А где можно увидеть кабаре? Я попыталась проанализировать выступления в столице в течение месяца, и оказалось, что такого рода спектакли проходят аж в 28 местах. Чаще всего – в домах культуры (9) и студенческих клубах (7), а также в театрах. Как правило, это маленькие уютные залы, вмещающие около 50-80 человек.

Только стульев не хватает...

Кабаре без публики – все равно что рыба без воды, как в смысле заработков, так и в творческом отношении. “Если бы не люди с их стихийной реакцией на наш юмор со сцены, кабаре не удалось бы сохранить даже за большие деньги. Этот вид эстрадного искусства отличает от других публика, которая каждый вечер вновь и вновь участвует в создании наших представлений. Без этого кабаре не бывает!” – единодушно признают члены “Храби”. Однако невозможно отрицать, что полные залы – это еще и полные кассы, т.е. более высокие заработки. А публика не подводит никогда. Согласно проведенному мною опросу, на выступления кабаре любят ходить как мужчины, так и женщины. Здесь можно встретить людей самого разного возраста – от двадцати- до девяностолетних, – хотя самая многочисленная группа,

несомненно, молодежь. Среди зрителей преобладают люди с высшим образованием, работающие как в государственных, так и в частных фирмах. Очень часто можно встретить супружеские и влюбленные пары – для них это самый приятный способ времяпрепровождения. На кабаре ходят в среднем два раза в месяц, чаще всего с друзьями, в большой компании. Что привлекает зрителей? Историк театра профессор Эдвард Красинский из Института искусства ПАН объясняет: “Специфическая магия кабаре притягивает людей уже многие годы. Это мир, сведенный к абсурду. Кабаре не только отвлекает от забот, но и заставляет смеяться над самим собой. Актер врывается в зрительный зал и предлагает: смейся надо мной, смейся над собой. Тут падают (не только со смеху) все барьеры, и наступает очищающий катарсис”.

Быть может, благодаря этому подсознательному стремлению к очищению на кабаре идут независимо от его уровня. Конечно, больше всего народу приходит на кабаре “первой лиги”; здесь качество определяется популярностью. Сегодня охотнее всего ходят на “Кабаре нравственной тревоги” (бесспорного лидера нашего рейтинга), на “Ни гу-гу”, “Ловцов”, а также на альтернативное кабаре “Мумиё”. В группу лидеров вошло также относительно молодое кабаре “Неоновая лампа” из Познани, покорившее зрителей главным образом беседами бабушек в мохеровых беретах. Реже упоминаются более старое кабаре О.Т.Т.О., “Храби”, “Ноу нейм” и “Утка, пырнутая ножом”. Но, как в один голос утверждают организаторы вечеров, кабаре всегда привлекают множество зрителей, даже если это новые, неизвестные широкой публике группы. Артур Андрус, хозяин еженедельной кабареетной сцены “Тройки” в варшавской “Харенде”, говорит, что за всю многолетнюю историю этих встреч еще ни разу не случилось, чтобы всем зрителям хватило сидячих мест: “Стульев всегда не хватает, независимо от того, выступают ли Вуйцики (кабаре “Ни гугу”) или какие-нибудь дебютанты”.

В Варшаве существует также несколько типично локальных кабаре, у которых есть свои постоянные зрители и свои сцены при домах культуры. Примером может послужить “Фрашка”, до недавнего времени выступавшая в Центральном районе, что не мешало ее участникам добиваться успеха на многих всепольских Кабаретонах. Они тоже не жалуются на доходы от выступлений, хотя для многих из них это лишь дополнительный заработок.

Магия смеха

Никто не в состоянии предсказать, когда исчезнет эта магическая способность смешить массы. “Только бы это никогда не случилось!” – хором говорят кабареисты. “Только бы это никогда не случилось!” – повторяют вслед за ними зрители. Одно можно сказать наверняка: в повседневный язык вернулось довоенное выражение “идти в кабаре”. Уже не “смотреть кабаре”, не “посмеяться”, а идти “в кабаре”, так как появляется все больше новых или существовавших ранее мест, которые считаются “кабаретными”. Только не забудьте заранее забронировать билет!

ВСЕ МЫ ИЗ ОДНОЙ ШИНЕЛИ

“Все мы вышли из гоголевской “Шинели””, — сказал Достоевский о своем поколении писателей. Россия Гоголя и Достоевского вдохновила краковского режиссера и кабаретиста Рафала Кмиту, создавшего спектакль “Все мы из одной шинели”.

— Твоя “Шинель” — о русских или о поляках?

— О людях.

— Ты написал где-то, что привязан к России из своей “почти детской мечты”. Степь, безумная любовь, пьянство, необузданное веселье. Все это есть в спектакле: у тебя там мчащаяся тройка, лихой казак, цыгане... Поляку легко полюбить такую Россию?

— В 90-е годы, когда я ставил “Шинель”, в Польше все еще бытовал стереотип русского-оккупанта. Я — человек поколения 70-х, и помню, например, как во время соревнований мы из принципа болели за противников советских спортсменов. Потом для меня началась другая Россия. Сначала с очень качественных польских театральных постановок русской литературы, которые показывало пээнэровское телевидение. Подростком я проглотил всего Гоголя, потом в университете перечитал его еще раз. Позже влюбился в Достоевского, читал многое из Толстого. Пока готовился к написанию сценария, несколько лет скупал русскую классику, слушал Чайковского, Мусоргского, романсы. Сейчас мы знаем о России гораздо больше. Русские приезжают к нам, мы тоже ездим в Россию, у многих есть российские телеканалы. Тогда для меня это был своего рода вызов — показать красоту, сломать предубеждения.

— Благородно с твоей стороны...

— Не разделяю твоей иронии. Я верю в миссию искусства. Конечно, важна тут и форма — в моем случае как можно более легкая.

— Все же ты не можешь не признать, что используешь другой стереотип, связанный с Россией. Очень сентиментальный, романтический. Меня уже давно интересует, почему он оказался так близок полякам.

— В этом вопросе чувствуется что-то вроде смущения: ты говоришь “сентиментальный”... По-твоему, в человеке нет потребности в сентиментальном? Так по-человечески: выплакаться, растрогаться. Это называется подлинность. Именно ее я ищу в искусстве.

— *Это благодаря ей “Шинель” имеет такой успех?*

— Одна из причин — то, что спектакль неплохо сделан. Есть в нем, например, музыка, написанная способным композитором, отсылающая к мелодиям Чайковского, Вертинского. Это прекрасные мелодии, в которых люди нуждаются особенно сейчас, когда в музыке место мелодии занял ритм. Но правда и то, что сама поэтика “русского характера” упростила мне задачу. Как-то меня спросили, смог бы я сделать спектакль о немцах. Может, у кого-нибудь хватило бы на это таланта. У меня нет. Когда я читаю Кафку, Манна, они не захватывают меня, скорее склоняют к размышлениям. Русские же зажигают. Даже сам по себе слог, формулировка предложений. Мне приходилось задумываться, почему то, как русские говорят по-польски, так нам нравится? Может, потому, что мы читаем русских писателей — Гоголя, Лескова, которые подняли народный язык до уровня литературы. И когда мы слышим обычный русский говор, нам кажется, что мы имеем дело с литературой... Для “русского характера” типично абсолютное забытие в эмоциях, не оставляющее места для сдержанности, прохлады. Не думаю, что это близко только полякам. Совсем недавно мы выступали с “Шинелью” в Швеции. Конечно, там была польская диаспора, но уже сильно “остуженная” шведским холодком, дистанцией по отношению к миру, людям и чувствам. А успех был оглушительным.

— *В “Шинели” есть и о современности. Например, эпизод, в котором издатель пытается навязать пришедшему к нему со своей рукописью Достоевскому весьма вульгарные требования рынка. Вообще твои спектакли рисуют действительность неприглядную. Везде коммерция, всё, в том числе и искусство, продажно. Тебе кажется, что в Польше — именно так?*

— Я написал скетчи для спектакля “Поп-шоу” в середине 90-х, когда Польша столкнулась с новым для себя опытом коммерческих СМИ. Появились идиотские ток-шоу, телевикторины. “Поп-шоу” было ответом на весь этот кошмар. Положение искусства в нашей стране казалось мне неприглядным еще сравнительно недавно, когда я ставил свой последний спектакль “Ка-стинг”. Я думал, что польский кинематограф, литература, театр — всё это никуда не годится, что мы слишком легко попались на удочку денег,

потребительства. Думаю, так оно и было. Теперь в искусство пришло новое поколение, и всё изменилось.

— Когда человек приходит посмотреть кабаре, чего он в нем ищет: развлечения, разрядки эмоций? Или мыслей о современности?

— Во времена ПНР в кабаре ходили ради той особой “смеховой общности”, которую оно противопоставляло ненавистной власти. Так что смех — над властью — был как бы функцией вторичной. А начиная с 90-х почти единственной функцией кабаре стал просто смех. Теперь кабаре — это элемент увеселительной промышленности. Мало кто настроен на миссию.

— Что сейчас в цене на рынке шуток?

— Ну, например, чистая комичность. Человек, который смешно выглядит (он очень высокий или очень низкий, у него нос картошкой) и еще может это как-то обыграть, всегда смешон. Смеются над отдельными группами общества: хип-хоперами, алкашами. Над политиками. Не в том смысле, что хорошо бы задуматься над недостатками польской демократии. Смеются над отдельными политиками, над их личной комичностью. У Гертыха смешные манеры, а его отец не верит в эволюцию, Леппер комичен, потому что из деревни и замешан в сексуальном скандале, и так далее. Смех очень упростился, я бы сказал, даже примитивизировался. Он сделался весьма эгалитарным, а раньше это было элитарное искусство. “Кабаре двух пожилых господ” обращалось именно к элите, а если затрагивало еще и массы, то лишь потому, что массы ориентировались на элиту. Сейчас же игру делает телевидение. Телевидению важна популярность. Оно заинтересовано в том, чтобы производить проще, больше и дешевле.

— Тебе, кажется, тоже предлагали делать свои программы на телевидении. Ты всегда отказываешься.

— Это не совсем так. В нашем деле тех, кого нет на экране, нет вообще. Мы стараемся время от времени продавать свои скетчи телевидению, потому что без него мы бы совсем “выпали” из рынка, люди перестали бы приходить на спектакли. Но я не отдаю телевидению всего. Сохраняю независимость. Совсем недавно я отказался продать наш скетч о радио коммерческой радиокompании — мы не участвуем в рекламе. Я не прихожу на глупые ток-шоу, не делаю серийных программ. Потому что телевидение способно перемолоть в порошок. Есть немало таких кабаре, которые приезжают на ежегодный конкурс

кабаре (ПАКА) полные творческих планов и действительно побеждают или занимают высокое место. В результате они с легкостью попадают в эфир, получают коммерческие предложения. И начинается: делают скетч за скетчем, серийно, быстро — неважно, что плохой звук и монтаж подкачал. Ездят с концертами и коллекционируют те шутки, которые срываются, потом делают новые по тому же принципу. Но все это шутки простейшие. Очень трудно придумать изящную шутку, да еще так, чтобы она понравилась массе.

— *“Кабаре двух пожилых господ” сегодня было бы невозможно.*

— И это признают сами телевизионщики. У “Пожилых господ” было несколько недель в телевизионной студии. Мне, худобно, хватило бы трех дней репетиций, а дают шесть часов с операторами, нередко приходящими навеселе, и редактором, который не вникает в мой замысел и не слышит, что я хочу над тем или иным фрагментом поработать дольше. В моих встречах с телевидением все больше давления с обеих сторон. Я требую от него, оно от меня. Этот конфликт я переживаю уже много лет.

— *Есть юмор, до которого ты не опустишься?*

— Стараюсь не использовать примитивных вульгаризмов. Известно, что вульгарность всегда в цене. Недаром большинство анекдотов использует мат: в нем огромный эмоциональный заряд. Тут, так же как в случае с сексом и насилием, связанными с инстинктом самосохранения, у зрителя в мозгу зажигается красная лампочка. Эта экспрессия действует всегда, поэтому очень легко ею злоупотребить. Многие кабаре так и делают. Я использую вульгаризмы, но не ради них самих.

— *Как придумать хорошую шутку?*

— Для меня это тяжелый труд с редкими озарениями.

— *Почему же для своего творчества ты выбрал именно юмор?*

— Это вопрос из области психоанализа. Мое детство прошло в не совсем нормальной атмосфере. Родители развелись. Да и вообще конец 70-х был в Польше временем серым и мрачным. Я был ребенком весьма чувствительным и (я хорошо это помню) в ранней молодости не раз переживал депрессии, думал о самоубийстве. Так что смех стал для меня спасением. Я страшно много смеялся в детстве. Обожал комедии, следил за всеми кабаре. В школе меня смешило всё, мой ум находил

смешное в самых обычных вещах. Я и сейчас воспринимаю мир через призму смешного, наблюдаю, потом перерабатываю в текст. Хотя, говорят, я не кажусь веселым человеком.

— Есть тема, над которой так же “терапевтически” смеются поляки?

— Фрейд говорил о терапевтической функции смеха: когда человека что-то угнетает, с помощью смеха он пытается сбросить с себя этот гнет. Так смеялись узники концлагерей, где, говорят, возникало очень много анекдотов. Думаю, не случайно в последние два года по Польше прошла огромная волна шуток о братьях Качинских. Ну да, они хороший материал для шуток — низенькие, близнецы, один с родинкой, и так далее. Но смеялись не поэтому, а потому что очень многим полякам они казались определенной опасностью.

— А слышал ты в Польше анекдоты о русских?

— Только от них самих. Это может означать, что Россию перестали воспринимать как угрозу.

— Ты как-то сказал, что смех — это лакмусовая бумажка. Невозможно его подделать: если смеются, значит, успех.

— Вот поэтому я и связался с кабаре. Если бы я занимался спортом, то выбрал бы скорее прыжки в длину, чем фигурное катание. Прыгнул восемь двадцать, и никто не поспорит, зато оценка выступления фигуриста всегда субъективна. Я предпочитаю такое вот “очевидное” искусство. Можно написать тенденциозную рецензию. Автору драмы после спектакля трудно с уверенностью зафиксировать чью-то растроганность, печаль или потрясение. Это слишком внутреннее. А смех — он всегда наверху.

Беседу вела Мария Рогинская

Рафал Кмита (род. 1965) сценарист, режиссер и кабаретист. По образованию социолог, изучал также юриспруденцию, театроведение и киноведение. В 1993 г. создал «Группу Рафала Кмиты», которая в 1993–1995 гг. трижды подряд занимала первое место на ежегодном конкурсе кабаре (ПАКА). Поставил юмористические спектакли «Глухие как пень», «Три фразы об умирании», «Поп-шоу», «Все мы из одной шинели», «Кастинг», «Ай вай, или истории с корицей».

Мартин Сендецкий

ВСЁ КАК-ТО ИЗМЕЛЬЧАЛО

Основание

Анджею
Сосновск
ому

Значит, возьми, покажи. Двоих с тележкой
в шкаф. Или на помойку. Очень просто,
под иву. В подвал. Туда, знаешь,
где котёл и дурацкий замок.
Алло, господа? Вы уже здесь?
Теперь надо столик на третьем,
остальные с Розой, пройтись по объекту.
Стульчики, штук шесть. Лучше не
бывает. Суточные на завтра. Пусть
сам себя покажет.

* * *

Всё как-то измельчало. Я вышел из трамвая.
Сравниваю пейзаж с инструкцией. Киоск.
Грач. Девочка сунула в рот два
розовых пальца. Потеряться невозможно.
Облезлая дверь. Грязная лестница. Посчитал
ступени: четыре, так что грязи немного.
Звоню.
Остаюсь там, внутри. Выхожу. Стемнело. Нет
даже снега. Не очень хорошо видно, но

прочёл, что трамвай будет через
двенадцать минут. В кармане книга,
спички, табак. И ничего я не знаю.

С высоты

С высоты третьего этажа видна автостоянка,
башенки

церквей, чешуя штукатурки на телах
типовых домов, меняющих

кожу, дальше, за стеной, люди идут по
улицам,

глотают слоги, лента дождя затягивается на
горле,

спускаясь, ты видишь детей, вбегающих в
обруч лужи, капли

на их потных лицах и слышишь, уже за
спиной, приказ

семилетнего командира, дальше, ты
останавливаешься, плотно

зонта промокает, если к нему прикоснуться
снизу,

мокрые волосы засыхают, спрятанный

в куртке отсыревший банкнот с Варыньским
дрожит от холода,

сейчас ты истратишь его, отдашь за табак и
спички: так, словно

этот киоск — резиденция охраны или
обменный пункт стихий;

на дворе июль, жизнь — отложенная на
потом — аккуратно

сложена и спрятана во внутренний карман.

(87)

Поля, лужи

Поля, лужи, клонятся силуэты людей,
и падает небо на крыши грязных домов, так
чисто

Конечно

Конечно, ничего не поделать, в субботнем
платье она идёт по улице, губная помада тает
в струях

влажного ветра. Асфальт мягкий, она
касается

губ, груди, взгляд скользит по ногам. Едкий
дым прорезает кожу и слизистые, ногти
давятся

шёпотом, щёки блестят, пальцы,
оглушённые,

вправляют не до конца застёгнутую
пуговицу (замочек

сумки?). Жжёт глаза, голова, откинута

назад, подчёркивает ритм, цвет и покррой
блузки.

И теперь, и через неделю, конечно, ничего не
поделать.

Автобусы и трамваи

Газеты живут всё быстрее. Вот и ты

у них во рту— прочитав через

плечо молодого мужчины несколько
собственных

слов. Жёлтые кадры перемещаются, деньги

и адреса тают в карманах.

(В-ва, апрель 89)

[Пыль]

Пыль кажется легче, листья
дышат. Постепенно, старательно.
Мы любили друг друга, теперь говорим
друг с другом. Капли бронзы вскипают
и гаснут, с каждым движением век.

На этот раз обойдётся без жертв

Будет праздник, внезапный,
торжественный, полный
солнца и блестящих ботинок. На этот раз
микрофоны не подведут, мальчишки будут
радостно плевать с балконов, и мясо, мясо
двинется по улице, а мы прикурим от
подручных
лампадок. И будет столько слов, светлых, как
медь, как
двери костёла. Будет праздник, мы будем
есть пирожные.

(89)

Пополудни

Пополудни оркестр уводит кого-то
на тот свет, стайка галок вот-вот взлетит.
Лица скорбящих смотрятся в зеркало
тротуара
(выпал снег, конец марта).

[Зима]

тут всё как было
может только
выпал снег

Антони
й Павляк

зимой, в меховых рукавицах инея,
перепоясав чресла, по колена
в море, которое пенится на олеографии
(86)

Песня о конце апреля

Помню ряд яблок лежащих у стены
предметы всё переминались с ноги на ногу
Теперь стул совершенно спокоен
прислуживает на мессе и верит в витражи
Я снова учусь быстро засыпать
изучаю анатомию смотрю на ворон
стайки воробьёв на шоссе выискивают вести
Кто-то был у меня хотел меня убедить
он говорил разумно я не мог отрицать
тень долго карабкалась по стене наконец
застыла глядя в свои лопнувшие глаза

Городок

Рядом парк, а может, школа, проходят люди
в грязных ботинках, деревья, как цветные
флажки, кучи листьев, дети в неприглядных
пальтишках похожи на ежей. Стальное небо
разрезает городок пополам, часы на башне —
словно меч обоюдоострый.
(86)

МАРТИН СЕНДЕЦКИЙ

Мартин Сендецкий дебютировал в 1992 году книгой стихов “С высоты” в знаменитой ныне серии издательства “бруЛьон”. Мариан Сталя, критик, который вывел на сцену поэтов того поколения, считал, что это социологически и политически внятные тексты, говорящие о Польше 80 х годов, о распаде коллективных стереотипов после краха коммунизма. Метод создания этих текстов: автор максимально сосредоточен на нескольких отдельных, обычно несущественных элементах реальности, акцентирует их и выдвигает на первый план. Задача лишь в том, чтобы они проступили более интенсивно, оставаясь при этом вне оценки. Дебют Сендецкого еще можно рассматривать в контексте “новой волны”, однако к вышедшим через шесть лет “Парцеллам” такой подход уже неприменим. В этом сборнике связи между отдельными строками, предложениями и словами утратили прозрачность и детальную ясность, язык текста не ведет читателя ни к духовному подъему, ни к открытию общности.

Именно в “Парцеллах” (1998) поэт начал хитроумную игру с миметическими иллюзиями. В следующих сборниках – “Шотландская яма” (2002) и “Описания природы” (2002) — иллюзии сначала розовеют, а потом раскаляются докрасна. Свой поэтический проект Сендецкий лукаво применяет как к лиризму, так и к нарративности, двум излюбленным принципам современной поэзии. Отрицая видимость жизнеподобия, он в то же время стремится к реалистическому эффекту, добываясь его в самых неожиданных местах стихотворений. Однако эти трюки не имеют ничего общего с юмором. Никаких шуток мы тут не найдем. Ибо игра заключается в том, чтобы, поставив под сомнение некоторые принципы, все-таки по-прежнему их придерживаться и не сойти с орбиты. Проект Сендецкого может служить наглядным пособием при любом анализе миметизма и эффектов выражения авторского “я” в поэзии.

У Сендецкого слышны далекие отзвуки размышлений о мире как целом, за которым — Бог, Смысл, Мысль (ведь прежде именно на этом основывалась лирическая форма стиха). Он освобождает свои тексты от пут лиризма, сохраняя довольно двусмысленную связь с действительностью. Указывает на абсурдный характер реальности, подвергнутой воздействию

языкового вируса, из-за чего образ производит впечатление “искривленного”, болезненного в тех аспектах, которые, как правило, довольно податливы к обработке в разных контекстах: социальном, эпистемологическом, политическом, институциональном. Можно сказать, автор ассистирует при вскрытии останков лиризма (поэтичности, певучести). Ассистирование переходит в неумеренное использование всего, что когда-то пребывало “вне” поэзии; тем самым реформируется идея стиха, заново определяется поэзия.

Сендецкий не отказывается от памяти об образе. У него остаются следы лиризма и фигуративности. Достаточно прочесть такой текст из книги “Парцеллы”: “Царапины, теплые. Строения в капле живицы, / выплюнутой из поезда. В каждом клубок ниток, / фиалковое личико. Вытяни липкие пальцы, одно / движение, самое малое”. Это еще не жонглирование языками, втиснутыми в сверхзаданные формы, которое появится в стихах из “Шотландецкой ямы”. Но уже видно, что язык всеобщего знания, грамматической правильности и описательной корректности все более теряет равновесие. Он проваливается в то, что должно было остаться внизу, и, вновь подтягиваясь в область общепринятого синтаксиса, возвращается не один. Его возврат на позиции уравновешенных принципов и норм вносит эксцентричное приращение принципов и норм иного контекста. Присмотримся внимательней.

Всё начинается с “сильного удара”, сужающего образ мира до образа царапин. Но после запятой “царапины” слегка рискованно определены как “теплые”. Уже между словом “царапины” и словом “теплые” язык теряет равновесие, ибо эпитет построен на соединении семантически чуждых пространств. Язык, а вместе с ним и образ мира, вновь начинает балансировать, когда вводятся “строения в капле живицы”. Но тут же “падает” вместе с дополнительной информацией о капле, “выплюнутой из поезда”. Если сочетание “царапины, теплые” признать эпитетом, то он быстро теряет свой автономный характер ради определенного соглашения. Его ограничивает, как закон, отсутствие точки и сохранение протяженности стиха со “строениями в капле живицы / выплюнутой из поезда”. Словечко “теплые” касается как строений, так и царапин. Строения тоже теплые, как царапины, — они “выплюнуты”, они теплые, как тепла слюна. Но не в слюне дело. Речь-то идет о живице. И отсюда царапины, так как “живица” отсылает к нарезам на коре. Поэтому между “живицей” и пояснением, что она “выплюнута из поезда”, язык вновь теряет едва обретенное равновесие. Он хватается за

“строения”: “В каждом клубок ниток”, — и вновь соскок: “фиалковое личико”. Кстати, разве не прекрасный реликт лиризма — это “фиалковое личико”? А клубки нитей, которые тут же действуют на воображение, сосредоточенное на команде: “Вытяни липкие пальцы”. Чем не забытое воспоминание об Ариадне? Лирически тонкое определение “фиалковое личико” слегка скомпрометировано, ибо касается “клубка ниток”, а не внушающей влюбленность барышни (предположим: из того же поезда, откуда выплюнута капля живицы, где уместились “постройки”...).

Так что же произошло с конкретным, образным, особенным языком ранних стихов, который, правда, сгущал пространство и деформировал его, но не вышвыривал нас из него так бесцеремонно, как в большинстве позднейших произведений Сендецкого? Тот язык исчез, ибо — как видно — исчезают не только предметы, но и языки тоже. В новых поэтических книгах Сендецкий занимается именно этим невероятно интересным процессом исчезновения языков.

ДВОЙНИК ЗЯТЯ ТОЛСТОГО

I.

Когда осенью 2002 года я наткнулся в газете на репродукцию старой фотографии, на которой Лев Толстой играет в шахматы, я почувствовал, что что-то тут не так. Теперь легко сказать, что меня пронзило ледяное острие тайны, или что богиня непонятных совпадений запечатлела на моем челе поцелуй со значением, или что меня задел своими смоляными крыльями ангел мрака — или еще что-нибудь в этом роде. Сегодня — легко, невероятно легко, а при моих стилистических склонностях — потрясюще легко так сказать. Тогда, однако, далеко идущие метафоры не приходили мне в голову. Фотография в каждом миллиметре своего тона сепии была невероятно интенсивной, но одной интенсивности для тайны мало.

Как бы опасаясь нарушить какую-то цельность, я не вырезал снимок, а сохранил всю газету. Положил ее в ящик, в котором держу дробь для ружья, и время от времени — явно слишком часто — вынимал ее, и всматривался зачарованно, и изучал сквозь лупу, и совершенно серьезно задумывался, как бы добраться до лабораторий, где ее просветят рентгеновскими лучами, увеличат до небывалой зернистости, из-за которой вынырнет тайное знамение, установят ключевую, всё раскрывающую ДНК бумаги, на которой она напечатана.

Любой ценой и всё понапрасну я пытался расшифровать внезапное и навязчивое присутствие толстовской шахматной доски у меня в мозгу.

Знаете такие ситуации: необъяснимо выразительная деталь далекого пейзажа, странный свет неведомо откуда, увиденный из окна поезда дом, к которому кто-то бежит по песчаной дорожке, тень внезапно отворачивающегося прохожего, расположение предметов на столе, кто-то, что-то, неведомо что — внезапно лезет в голову и не дает покоя.

Фотография играющего в шахматы Толстого не давала мне покоя три года. И по сей день я до конца покоя не обрел, может, даже совсем наоборот, но по крайней мере сформулировал некоторые предположения. Если бы я был рассказчиком

детективного романа, то сказал бы, что наметил направление расследования.

Кстати, пожалуй, подчеркну, что я вовсе не поклонник ни шахмат, ни Толстого. Никакой легкомысленной интонации в этом признании нет. Особенно в отношении Толстого. Я восхищаюсь автором “Войны и мира”. Восхищаюсь им безмерно и набожно. Может даже, если бы кто-то мне велел назвать величайшего в истории прозаика — слегка в темную, но с безжалостной интонацией я бы его назвал. В конце концов, если роман должен создавать мир — или целую вселенную, — у него это лучше всех выходило. Говорю, что я не поклонник Толстого только потому, что не знаю его хорошо. Нельзя быть поклонником того, чего не знаешь досконально. Поклонение предполагает познавательное совершенство. А я хорошо, и даже очень хорошо, знаю только один его текст. И правда, этого одного текста — могу признаться с чистой совестью — я поклонник. Я поклонник “Смерти Ивана Ильича”. Эту повесть я считаю шедевром шедевров, пределом человеческих возможностей в искусстве рассказа. Все остальные вещи Толстого я ценю, восхищаюсь ими. Ценю и восхищаюсь, но — поймите меня правильно — не чую их запаха.

У по-настоящему великих, по-настоящему близких и по-настоящему интенсивных писателей есть запах. Набоков пахнет морской солью, Ерофеев — жимолостью, Маркес — селитрой, Цвейг — ноябрьским небом, Ивашкевич — сосновой хвоей, Брех — стекающими в долину водами ледника, Платонов — распаленной кузницей.

У Толстого нет запаха. Разве что проза пахнет умиранием, а смерть — как воздух.

Несколько лет назад я купил в букинистическом магазине четырнадцатитомное собрание его сочинений; всего, разумеется, не прочел, но “Войну и мир” — один раз, “Анну Каренину” и “Воскресение” — по два раза, “Крейцерову сонату” — три, а может, даже четыре раза. К “Ильичу” я возвращаюсь часто и всегда, когда читаю последнее предложение — о том, что “кончена смерть”, — по коже пробегают мурашки. Никогда, однако, у меня не было какой-то “толстовской фазы”, какой-то одержимости или зачарованности Толстым. И речь идет не о расхожих банальностях, что, мол, “поклонение великому гению, издаваемому в виде „собрания сочинений”, всегда отмечено некоторым холодом, что Шекспиром, Гёте или Данте, разумеется, восхищаешься, но вряд ли сходишь по ним с ума и даже, честно говоря, на сон грядущий читаешь редко”. Такая

тягомотина меня не касается. Я читаю перед сном классиков. Скорее даже на рассвете, потому что вечером безразлично, что́ взять в руки, классик не классик, Флобер не Флобер, Диккенс не Диккенс, — прежде чем дойду до конца страницы, засыпаю. Но просыпаюсь на рассвете и тогда читаю классиков. С восхищением и без сумасшествия. Видно, если человек в таком возрасте, что читает только на рассвете и только классиков, — уже поздно предаваться одержимости. Даже одержимость — а это была одержимость — газетным снимком, на котором Толстой играет в шахматы, не склонила меня к одержимому чтению его собрания сочинений.

Подпись под фотографией гласила, что в старости его любимой игрой были шахматы; однако написал ли он в связи с этим хоть одно предложение о шахматах? Поглядеть, так вроде бы в сотворенном им космосе и для шахмат должно быть место, но где его искать? Мне кажется, что ни в “Анне Карениной”, ни в “Воскресении” и уж наверняка в “Смерти Ивана Ильича” о шахматах ни слова. Мысль приняться за фундаментальное изучение остальных его сочинений с точки зрения наличия в них шахматных мотивов, разумеется, пришла мне в голову, но и только. В действие эта поразительная идея не обратилась ни в малейшей степени. Конечно, когда что-то не удастся установить — надо выдумывать. В этом состоит познание мира через литературу. Фантастически прекрасный замысел самому сочинить таинственный рассказ о неизвестном шахматном эпизоде из жизни Толстого был мне, однако, совершенно не по силам.

У меня не было даже предварительной догадки: таится ли притягивающий меня к снимку магнетизм в самом склонившемся над шахматной доской писателе, или в его одетом по помещичьей моде противнике (лицо которого, кстати сказать, показалось мне удивительно знакомым), или в собравшихся вокруг многочисленных, как бы болеющих за игроков, а на самом деле позирующих фотографу домочадцах. (Хотя Софья Андреевна болеет, пожалуй, искренне — во всяком случае внимательно смотрит на черных, которыми играет муж.)

В конце концов я задал себе труд и с помощью одной филигранной и притом крайне прыткой русистки, 1968 г.р., установил, кто есть кто на дагерротипе. Кстати сказать, филигранная и крайне прыткая русистка, 1968 г.р., которая сначала считала, что я придумал тонкий предлог известно к чему, потом — что я маниакальный дурень, под конец сама зажглась темой и составила обширный корпус материалов,

доказывающих, что шахматы в жизни Толстого играли все-таки нешуточную роль. Даже достала в Москве вышедшую в 60-е годы отдельную книгу “Толстой и шахматы”. Я просматривал всё внимательно, делал выписки, однако с самого начала знал, что это мнимая деятельность, которая никоим образом ничего вперед не подвинет. И действительно — не подвинула.

Секрет, вероятнее всего, был в самих шахматах. Но — повторяю — шахматист из меня средний. Конечно, тут можно говорить о более интенсивных эмоциях и о большем мастерстве. И все-таки то, что в шахматах я разбираюсь лучше, чем в жизни, не значит, что я в них разбираюсь хорошо. Начинал я, правда, совсем неплохо. Теперь бывает всяко. Теперь и это умение если не угасает, то наверняка не блистает; но начинал я неплохо. Может, даже отлично. Учили меня сплошные гроссмейстеры. Да-да. Каждый был гроссмейстером и каждый обладал своим выразительным и незабываемым стилем игры. Дедушка Пех — стилем мужиковато-ренессансным. Бабка Пехова — стилем заядлым. Дядя Аблегер — стилем молниеносным. Дядя Павел — стилем набожным. За исключением матери, все домочадцы играли в шахматы.

Шахматная доска, которую мы клали на покрытый голубой клеенкой стол в нашей огромной кухне, была похожа на толстовскую. Ничего этим не хочу сказать. Ни дешевых эффектов не умножаю, ни жалко пошутить не силюсь. Просто констатирую, что наши шахматы в старом доме в Висле были родом — как и шахматы, которыми играли в Ясной Поляне, — из тех мифических эпох, когда шахматная доска была отдельно, а коробка отдельно. Разумеется, гений, который придумал, чтобы коробка в раскрытом виде становилась доской, уже совершил свое открытие. Притом — как следует хотя бы из старых гравюр — совершил его много веков назад. Но, к счастью, до 50-х годов XX века оно не достигло Тешинской Силезии. А если достигло Тешинской Силезии, то не достигло Вислы. А если достигло Вислы, то не достигло нашего дома.

Идущая с тех пор сентиментально-атавистическая неприязнь к коробке, которая в раскрытом виде становится доской, понятное дело, не сгоняет мне сна с век. Не сжигает меня эта ненависть днями и ночами, но она равна моей неприязни к магнитным шахматам. Обычно я стараюсь преодолевать собственные заскоки. Этот — лелею.

Прежде всего (прежде всего!) надо разложить шахматную доску. Затем (затем!) высыпать из коробки фигуры. Высыпать на доску! Не на стол! Никакого высыпания на стол! И когда раскладываешь, и когда складываешь шахматы, доска должна

быть разложена! Фигуры перед игрой должны быть в коробке; во время игры — на доске. Не на доске стоят только съеденные фигуры!

У отца, по-видимому, были те же самые фобии. Поэтому он настаивал на ящике, а поначалу даже на двух ящиках. Он неплохо играл. Не так молниеносно, как дядя Аблегер, который обожал игру на время и навязывал ужасающий темп, подгонял и — надо признаться — чаще всего выигрывал, хотя иногда в этом своем обезумевшем темпе делал такие промахи, что верить не хотелось. И не так заядло, как бабка Пехова, которая не выносила проигрышей. И не так гедонистически и великодушно, как дедушка Пех, который ради красоты и наслаждения забывал об успехе и, можно сказать, специализировался в проигрышах. И не так молитвенно, как дядя Павел, который за каждый удачный ход благодарил Бога.

Отец играл и не так молниеносно, и не так заядло, и не так сибаритски, и не так набожно, но достаточно успешно и безжалостно. Шахматы, кстати, по природе безжалостны. В искусстве двигать шахматы жалости нет — есть, самое большее, ошибка в искусстве.

Думаю, что ребенком я, должно быть, и вправду играл неплохо. Должно быть — потому что ничего не помню. Помню все испорченные игры: разваливающуюся плотину из камней на ручье в Партечнике; матч, проигранный 10 му “в”; поражение в церковной угадайке, когда я сказал, что близнецы — Каин и Авель вместо Иакова и Исава; потерянные очки во время турниров по пинг-понгу в Соборном доме; помню все “рыбы” в вечернем домино; все затронутые “вёсла” и “багры” в гряде бирюлек; все не сброшенные в святочные вечера шестерки в “Китайце” и все неназванные горы и реки в “Государствах, городах” — а проигранных шахматных партий не помню. То есть, стало быть, выигрывал. И выигрывал серьезно, потому что такого обычая, чтобы молодому для затравки дать выиграть, ни у нас дома, ни вообще в домах у евангеликов нет. Наоборот, есть такой принцип, чтобы молодого на подступах ко всякому умению унижить, сгноить, дать хорошего пинка: если справится — выйдет в люди, если нет — что поделать, от стола Господа Бога разные люди питаются.

Помню текучесть и музыкальную естественность игры. У меня не было чувства безошибочности хода — было чувство, что нет другого хода. Вероятно, пресловутая познавательная невинность в моем случае касалась шахмат, а не, например, рисования. Большинство детей, как всем известно, вначале рисует интересно; как только они немного подрастут и

начинают рисовать сознательней, то есть лгать, то есть комбинировать, — дар испаряется. Я подрост, начал комбинировать, дар испарился или во всяком случае ни во что не развился. Теперь я играю редко, а последние пять лет — еще реже, потому что исключительно сам с собой. Когда в каком-нибудь журнале наткнулся на шахматную задачу, то обычно ее решаю, и обычно — без самохвальства — это отнимает у меня не больше четверти часа.

Нынешние газеты редко печатают шахматные задачи. У меня нет ни малейшего намерения жаловаться, что настали худые времена, в которых древнюю царственную игру вытеснили достойные жалости компьютерные игры или еще что-нибудь в этом же вкусе. Отнюдь. У меня нет склонности к таким банальностям, а если в минуты слабости они меня посещают, я высекаю из себя остатки умственных сил и душú их в колыбели. Кроме всего прочего я считаю, что всяческие “царственные игры и забавы” должны быть элитарными и что вообще внимания заслуживают только те вещи, в которых разбирается и которыми занимается малое, как можно меньшее число людей.

Замечание о редкости шахматных задач в нынешней печати я сделал для того лишь, чтобы объяснить по поводу некоторой эксцентричности. А именно: просматривая в свое время прессу в “Доме книги” — не с целью найти шахматную задачу, во всяком случае не исключительно с этой целью, — я заметил, что совершенно незнакомый мне и всегда залеживающийся на полках еженедельник “Новое государство” публикует не только шахматные задачи, но даже специальную и неплохого уровня шахматную рубрику, что вдобавок составляет эти полколонки (правда, малого формата) довольно — если судить по снимку — симпатичная гроссмейстерша с экзотическим именем Ивета. Я начал покупать журнал довольно регулярно. Вырезаю партии и комментарии к ним симпатичной гроссмейстерши с экзотическим именем — остальное “Новое государство” выбрасываю не читая, — вот она, моя эксцентричность.

У меня три комплекта шахмат. Большие (“Классические”? “Королевские”? “Олимпийские”?) — как видно, я даже в основных терминах не уверен; во всяком случае доска 40 сантиметров — куда больше вислянской, но форма фигур точно такая же, как у тех, что пропали вместе с обращенным в руины и прах домом. Пешка, тура, конь, офицер, королева, король. Извечный образец и известные, то есть из моего мира взятые, названия. Никаких неизвестных мне слонов, ладей, ферзей. Когда слышу или читаю, что кто-то делает ход слоном

или ладьей, — в первую минуту не уверен, о какой игре идет речь. Преувеличиваю — но слегка и для символики. Дальше. Стыдно признаться: есть у меня и магнитные шахматы. Все-таки. Маленькие, классические, но магнитные. Это, само собой понятно, варварская дешевка.

Как настоящее столярное искусство должно обходиться без единого гвоздя, так и в настоящих шахматах нет места никаким металлическим элементам. Не такие, однако, принципы случается нарушать ради матери всякой дешевки — человеческого удобства. Мнимого удобства. Вроде бы при некоторых обстоятельствах, например в путешествии, необычайно удобно играть в шахматы с магнитиками. Не знаю. Я избегаю путешествий. Вроде бы не только при некоторых, но вообще при любых обстоятельствах еще удобней магнитных компьютерные шахматы. Тем более не знаю. Я компьютер использую исключительно как пишущую машинку. Для меня одно хуже другого, а другое хуже первого. Магнитные хуже компьютерных, но и компьютерные хуже магнитных. Как в жизни: все шкалы летят книзу. Все сценарии — мрачные. Компьютерное дерьмо, конечно, вытеснит дерьмо магнитное, но это утешение слабое, потому что тем самым якобы уничтоженные, подмагниченные курьезы не исчезнут до конца, а приобретут достойный отпечаток старины и станут раритетом декоративного искусства XX или даже XIX века, предметом розысков коллекционеров. Круг замыкается. Обруч сжимается. Но даю честное слово: не ради отпечатка старины купил я магнитные шахматы.

Купил я их — в магазине с сувенирами для мужчин на Кручей, — потому что мне продолжало казаться, что на обычной доске, на которой я неустанно разыгрывал толстовскую партию, царит чудная неустойчивость. Надеюсь, я не обязан подчеркивать или вообще отмечать, что, как только я увидел фотографию, сразу расставил фигуры? Присматривался внимательно, разыгрывал всё новые варианты, возвращался к исходной позиции и т.д. Однако со временем — это продолжалось добрых несколько месяцев — я начал испытывать странное, хотя в данном случае, может быть, вполне обоснованное впечатление, будто что-то, кто-то, какой-то дух или другой какой бес меняет расположение пешек и фигур, что они сами движутся по доске; чёрт его знает.

Разгадка оказалась весьма разочаровывающей. Убирающаяся у меня раз в неделю украинка, поразительно, кстати сказать, педантичная, не могла удержаться и пылесосила в числе прочего шахматную доску. Разобравшись в чем дело, я ей сурово

выговорил и решительно запретил даже приближаться к шахматам. Однако, как это бывает в опасные моменты, мне всех гарантий было мало, и с целью хотя бы минимального укрепления устойчивости я купил магнитные шахматы.

Правда, когда я увидел еще в магазине шокирующую надпись на коробке: “Made without child labour”, — на мгновение заколебался. В конце концов, человек моего поколения, как только услышит, что-де *неправда, будто у нас работают дети*, тут же естественно воображает миллионы маленьких истощенных китайцев, мучимых голодом и холодом и вытачивающих на фрезерном станке или просто вручную всё новые и новые пешки, туры, офицеров. Вообразил я эту картинку, но она быстро испарилась. Откровенно говоря, испарилась раньше, чем я ее вообразил.

Третий комплект моих шахмат — это подарок от женщины, о которой я хотел бы забыть. Однако совершенно явно желание это слабее, чем жажда обладания. Я не избавляюсь от этого сувенира, что особенно странно, потому что вдобавок он имеет вид курьезной дешевки. Только — дам волю неджентльменскому презрению — роковая женщина, а точнее только катастрофическая женщина, только женщина настолько катастрофическая, могла надеяться, что хоть кто-нибудь поверит, будто псевдоиндийская имитация дерева, мрамора, слоновой кости, меди, керамики и чего там еще привезена из Бомбея, между тем как, вероятнее всего, была приобретена в подземном переходе под Центральным вокзалом. Да и то в лучшем случае.

Если говорить о шахматной литературе, то у меня есть собрание всех партий Бобби Фишера, три тома “Биографического словаря шахматистов”, монография о сицилийской защите по-английски, а также фундаментальное и, честно говоря, совершенно безумное сочинение “С шахматами через века и историю”. Ни одной из этих книг я даже по диагонали не прочитал. Но вообще-то число книг, чтение которых я откладываю на времена поспокойнее, куда больше, а их тематика — обширней. Под временами поспокойнее я имею в виду дни, ночи, недели и месяцы, львиную долю которых не будет пожирать страстная погоня за дамочками. Тогда, проснувшись на рассвете и начав читать какую-то книгу, я буду читать до самого полудня, а может даже — если захочу — до сумерек. Что-то мне подсказывает, что до этой эпохи полного спокойствия я не доживу, но это не значит, что не надо собирать книги.

Кто-нибудь скажет, что, неустанно подчеркивая, как это я якобы не разбираюсь в шахматах, я кокетничаю и морочу голову, потому что из моих рассказов неопровержимо вытекает, что я, должно быть, совсем неплохой шахматист. Отнюдь: без тени сомнения и смертельно серьезно заявляю, что я шахматист так себе, чтобы не сказать — никакой. И дисквалифицирует меня одна основополагающая деталь: я не знаю искусства шахматной записи и никогда им как следует не овладел. Овладел настолько, чтобы без жутких ошибок расшифровать запись газетной шахматной задачи, а это — в самом деле мало. Шахматная доска моего детства состояла из наклеенных на полотно деревянных полей — кремовых и коричневых, называвшихся белыми и черными; и на этом парадоксальность названий кончалась. То, что это какие-то а7, с5, f3, ни я и никто другой из домашних гроссмейстеров не имел ни малейшего понятия. Я не поручился бы головой, что они не задумавшись ответят, сколько вообще полей и сколько фигур. А если бы им кто-нибудь сказал, что можно играть на листке бумаги, — высмеяли бы его. Чувственные удовольствия не были их сильной стороной, но играть, не касаясь фигур, не передвигая их неспешно или резко, не глаза постоянно на постепенно угасающее (и все-таки до конца в своей таинственной симметрии волнующее) расположение, — было незачем. Профессиональные аргументы: что если кто-то не овладел записью, то и с шахматной памятью у него плохо, что, конечно, можно помнить расположение фигур, но такая память маловместительна, потому что фигуры занимают три измерения и слишком много их в голову не влезет, — не производили на нас и до сих пор на меня не производят впечатления.

Говорят, мозг профессионального шахматиста наполняют сотни тысяч комбинаций. У меня их в голове несколько штук. И в целом я из-за этого не переживаю. Хотя в распутывании как раз этой истории несомненно пригодилось бы чуть больше. Хоть полтора десятка, хоть несколько десятков, хоть сто.

Может, я не глазел бы месяцами и годами на расположение фигур на толстовской доске, как баран на новые ворота. Может, само расположение партии открыло бы какой-то тайный клапан в моем мозгу. Но я глазел и не имел никаких шансов, потому что даже если видел такое расположение, то не помнил его. Даже если я когда-нибудь слышал эту мелодию, то с моим жалким слухом не имел шансов ее повторить. Классик говорит: если помнишь — достаточно связать; а я не мог связать, потому что не помнил. Не имел понятия, что с чем связывать.

Сегодня я ясно вижу, что страдал своеобразной слепотой. Вглядывался в каждый квадратный миллиметр фотографии, но стильного столика, на котором стояла доска, не видел. Не то что не замечал или не придавал надлежащего значения — попросту не видел. Была у меня странная, а может, вовсе не странная, но вполне обоснованная блокада. Я не видел того, что перед носом, и не помнил первой фабулы. И бился слепой головой в фотографию играющего в шахматы Льва Толстого, как в Китайскую или Берлинскую стену. И стоял под этой фотографией, как под Стеной плача или под Железным занавесом. И ничего. Никакого движения. Ни рукой, ни ногой. Ни офицером, ни турой.

Пока однажды, в одно из моих обычных, каждый день переживаемых озарений; однажды — увидев на углу Кручей и Журавлей самый совершенный в мире загар; однажды — точнее говоря, в один прекрасный июльский день, — когда я уже собирался гнаться за выплывающими из ящерично-желтого платья и сияющими загаром, как кофе с молоком, плечами; когда уже — скажу откровенно — за ними гнался; когда вот-вот мне предстояло сменить фигуру и состояние сосредоточенности и стать каплей пота на удаляющихся плечах случайно увиденной архичувихи, — внезапно меня озарило. Внезапно я стал как вкопанный, внезапно оставил погоню, внезапно опять стал самим собой. Внезапно испарилась муча, приносимая мне роковой фотографией; внезапно я осознал, кого мне напоминает тип, играющий с Толстым в шахматы.

Кого-то он мне напоминал все время, однако это была, так сказать, побочная неуверенность. Орнамент неуверенности. Вот в целом, от “а” до “я” тревожная картинка, на которой — вдобавок — кто-то кого-то напоминает. Но то, что напоминает, кажется неважным: слишком демонстративно, слишком на поверхности и похоже на тоже таинственное, но случайное дополнение. Главное, иероглифы почти наверняка были начертаны на раскрытой доске; едва начатая на ней партия могла пойти в любом направлении, и сотни возможных комбинаций могли быть задачами с их решениями. Тысячи страниц и сюжетов, записанных гениальным писателем, могли содержать входы и выходы из лабиринтов. В конце концов, пускай бы скорее в них была прекрасная и запутанная суть дела, а не в том, что кто-то тут на кого-то похож. Кто-то всегда на кого-то похож; а если из малого поселения пускаешься в мир, то постоянно встречаешь в этом мире двойников людей, что жили по соседству, и никаких в этом секретов — кроме анатомических фиговых — нет. О встреченных в мире двойниках старых вислян я мог бы написать отдельную книгу,

и поверхностное бы это было сочинение. Даже из сходства старого Лазаря с Уинстоном Черчиллем или Шарца из Партечника с Павлом VI мало что вытекает, а уж что говорить о невыдающихся сходствах.

Похоже, что собственным решением я сам разочарован. И да, и нет. Да, потому что оказалось, что ключ к тайне скрыт в лежащем на самой поверхности дополнении к тайне. И нет, потому что принцип, согласно которому хороший роман ужасов содержит ответы на главные вопросы: о природе зла, дьявольщины и того света, — в моем триллере оправдался тютелька в тютельку.

III

Играющий со Львом Николаевичем Толстым в шахматы помещик напоминал одного шофера из Горно-металлургической академии. Видели мы его раз в жизни, и хотя и я, и мать, и остальные домочадцы хорошо запомнили его подвиги — лицо его и внешний вид совершенно изгладились из памяти. И вот теперь, после трех лет вглядывания в фотографию, на ее поверхность выплывала та же самая — точь-в-точь — добродушная, а по существу фарисейская улыбка; тот же самый высокий, переходящий в лысину лоб; те же самые неопрятные, взлохмаченные борода и усы. Я был дома. Истина лежала на поверхности. Темнее всего было под фонарем. Мне предстояло рассказать семейную историю, одну из самых главных, которую некоторое время часто вспоминали. Насквозь — вдобавок — шахматную семейную историю. Вспоминали часто, но недолго, потому что быстро оказалось, что все предпочитают эти не до конца понятные события — сегодня уже сорокалетней давности — забыть.

Отец решительно чаще пропадал без вести, чем это пристало инженеру Горно-металлургической академии. Однако он всегда возвращался, и нечего скрывать: жалкие это были возвращения. Всегда в подпитии, всегда побродяжкой и всегда с тем же самым припевом, а именно: что до раннего утра играл с сослуживцами в пинг-понг.

Но когда он пропал во время переселения в Краков, дело выглядело опасно. Впервые мы были уверены, что его нет в живых.

Стоял жаркий август 1962 года, мне было десять лет, и я находился в апогее всех своих возможностей. Год с лишним непрерывно играя в футбол, я стал опытным нападающим. В

толстом блокноте с зеленой обложкой, который мне подарили на день рождения, я писал любовный роман из воровской жизни. В предчувствии неизвестно какой тайны таскался за одной чудно одетой дачницей. Почти каждую ночь мне снились великие перелеты над землей и захватывающие дух приземления в желтой траве. Я был влюблен в Клаудию Кардинале, и — как положено настоящему мужчине — меня ожидала ее взаимность. С осени мы должны были поселиться в Кракове, и каждый день этого лета обладал вкусом последних вещей.

Отец заказал у мастера Штвртни стеллажи, которые в краковской квартире должны были занять целую стену, висячий кухонный шкафчик и специальный столик для игры в шахматы.

— Какой столик для игры в шахматы? — заламывала руки мать.
— Какой столик для игры в шахматы? Стыдно даже заказывать что-то этакое! Мастер Штвртня — серьезный ремесленник! Он не будет тебе делать разные диковины! Зачем столик для шахмат! — кричала мать. — На нормальном столе играть нельзя?

— Нельзя, — глухо отвечал отец.

— Ты Ньютон! — мать поднимала глаза к небесам. — Ты великий ученый Исаак Ньютон.

Пожалуй, раз сотый, так как поводов всегда хватало, она приводила анекдот о сэре Исааке Ньютоне, который — как рассказывают, — когда ему надоело открывать дверь гулявшей туда и обратно кошке с котятами, велел вырезать над порогом два отверстия: большое для кошки и маленькое для котят; так, будто — она прямо захлебывалась — маленькие котята в большую дыру не сумеют пролезть! Ньютон! Настоящий Исаак Ньютон! А вообще, когда это ты будешь играть в эти самые шахматы? Когда? Если тебя дома никогда нет.

— В воскресенье, — высокомерно отвечал отец, и мать капитулировала и глядела в сторону бабки Пеховой, ища у нее утешения и понимания. Бабка вздрагивала каждый раз, как слышала о шахматном столике, так, словно речь шла о дьявольщине в прямом смысле слова; она не крестилась, не осеняла себя крестным знаменiem, потому что у нас в повседневной жизни этого нет; но с отчаянием махала рукой и тут же, прямо с места, на котором стояла, пускалась бежать, будто бросалась в панический побег, куда глаза глядят, и через несколько шагов вдруг останавливалась и глядела украдкой на

отца, не опомнился ли он, а видя, что не опомнился, придавала своим чертам выражение, говорившее: “Изыди, сатана!”

Дед усмехался в усы, тихонько хихикал, смеялся в глубине души. Его веселил не столько шахматный столик сам по себе, сколько переполох, в который из-за этого столика впадали женщины. Но и он через некоторое время терял терпение, хмурился, отводил отца в сторону и убеждал:

— Подумай, Юзеф. Все-таки подумай. Я сам, как ты знаешь, обожаю шахматы, но зачем преувеличивать? Мы в шахматы играем, но мы не шахматисты. Все, почти все в доме играют, но наш дом — не дом шахматистов. Тем более — не дом шахматистов-профессионалов, или шахматистов-азартных игроков, или шахматистов-шахтоманов. Мы играем так, как Господь Бог повелел: в воскресенье после обеда, в долгие зимние вечера, в святки. И играем такими, как Он приказал, шахматами и на такой, какая Ему нравится, доске. Зачем тебе больше, Юзеф? Зачем тебе шахматный столик?

— Чтобы играть на нем в шахматы, — глухо отвечал отец. — Чтобы играть на нем в шахматы в Кракове. В воскресенье после обеда. В долгие зимние вечера и в святки.

— На святки, надеюсь, — ответил дел, — вы будете приезжать к нам. И тогда будем играть как до сих пор. Не понимаю я тебя, Юзеф. Возьмем к примеру кровати. Все мы спим на нормальных кроватях, вообще все люди спят на нормальных кроватях: деревянных, с сенниками и матрасами, и укрываются перинами. И это хорошо. А ты, Юзеф, со своим шахматным столиком ведешь себя так, будто по неведомым причинам какой-то неведомо какой кровати себе пожелал. Надувные матрасы, как в бассейне, шелковые покрывала, как в борделе, и бамбуковые стеллажи, как в Конго. Подумай, Юзеф. Это же в конце концов дьявольщина.

— Нет, — отвечал отец, — это не то же самое. Надувной матрас — это не шахматный столик. Наклеенная на стол шахматная доска — это не покрывало в борделе. Конго — это не Краков. Всё зло, — отец бледнел, и капли пота выступали у него на лбу, — всё зло идет от смешения понятий. Смешение всего со всем — вот дьявольщина. Путаница всего со всем — вот бесовство. Не о чем разговаривать. Не уступлю.

IV

Напряжение нарастало. Мастера Штвортню мы ждали как второго пришествия Господа, Который будет судить

заступников и врагов эксцентричности. Когда в конце концов на дворе раздалось тарахтенье его дряхлого виллиса; когда сам он стал в дверях в стародавней косоворотке, в сношенном коричневом костюме с налипшими там и сям опилками; когда он сел за стол в нашей огромной кухне и когда после обсуждения, точнее поверхностного напоминания конструктивных деталей стеллажа на целую стенку и висячего кухонного шкафчика, отец, растерянный под взглядами, которые метали на него мать и бабушка, вынул из-за пазухи сложенный листок со старательно нарисованным проектом шахматного столика, — в кухне наступила ужасная, взрывоопасная тишина. Мастер столярных дел положил бумагу на стол, его серебряная голова склонялась всё ниже, стоящие у печки женщины с отвращением поглядывали на отца. Что поделаешь, не хотел слушать предостережений, допустил такую выходку несмотря на все выговоры — теперь получит свое. Сейчас мастер изругает его с головы до ног и скажет, чтобы не забивал голову серьезному специалисту такими фанабериями. Дед сидел с противоположной стороны стола и радужно улыбался — для него любое решение было сюжетно привлекательным. Он свое сказал, предостерег — порядок, совесть у него чистая, и теперь он, взволнованный и с легким сердцем, ждал мужской забавы.

Мастер склонялся над листом бумаги всё ниже, потом резко выпрямился и сказал: — Ждать, пока что ждать, — и полез в боковой карман пиджака, и вытащил сначала массивный столярный карандаш, а потом — с извиняющейся улыбкой — тоже массивный футляр для круглых очков в проволоочной оправе, и надел эти очки на нос, и еще долго глядел на рисунок, и стукнул по нему карандашом, и всем казалось, что он окончательно пригвоздил негодную конструкцию, и еще раз стукнул, и сказал: — Ждать, пока ждать. — Ящика хватит одного, но сбоку.

Господи Иисусе Христе! Мастер Штвртня не пригвоздил, а только указал слабое место конструкции!

Немного, очень немного раз в жизни видел я моего старика в полноте счастья. Три, может, четыре раза. Однажды мы спустились с Партечника, и внезапно, словно вышел из-за поворота, на противоположном склоне показался в желтоватом сиянии гаснущего над Чанторией солнца наш, только что поставленный дом — может быть, тогда он был счастлив. Может, был счастлив, когда за год до смерти вернулся из больницы домой, открывал калитку, поднимался по лестнице и жизнь, казалось, была перед ним. Может, когда за

сорок лет до этого на контрольной преподаватель Когутко сказал ему, что я лучший математик в классе, — был счастлив, потому что еще не знал, что моя карьера математического гения закончится быстро и безнадежно. Может, он был счастлив, когда нечеловеческими усилиями в нечеловеческих условиях заканчивал работу над своим величайшим изобретением — машиной, самостоятельно орошающей цветы в жардиньерках. Может был, а может не был. Но тогда, когда мастер Штвортня серьезно и заинтересованно отнесся к его проекту шахматного столика, он был в полнейшей эйфории.

Поначалу, как растерянный от неожиданного отличия школьник, он не очень-то знал, что делать. Однако быстро преодолел триумфальную робость и, не удостоив ни своих антагонисток (внезапно сосредоточивших свое внимание на чайнике с сонно кипящей водой), ни своего союзника (которым немедленно — судя по эйфорической мине — стал дед) ни единым взглядом, пустился с мастером Штвортней в детальное обсуждение.

Ящика для фигур и пешек хватит одного, но он должен быть сбоку, потому что так и удобней и сохраняется принцип беспристрастия. Шахматы — это игра, перед началом которой фигуры нельзя прятать со стороны одного игрока. Два ящика с двух сторон — в порядке; но если один — то посередине. Достаточно глубокий, чтобы не нарушить центра тяжести; и тем лучше, потому что будет хорошо держаться. А выдвигать целиком нужды не будет, так что в глубине можно еще что-нибудь важное спрятать. Например фотографии, которые смотришь не каждый день, или какие другие предназначенные для мужчины предметы оснащения. Штвортня подмигнул понимающе. Паническое шипение тут же начало доноситься от кухонной печи, но это уже было возмущение иного рода. Это было возмущение ритуальное и тем самым полное своего рода облегчения. Возмущение подготовленное, натренированное и даже выученное. Возмущение тех, кому положено возмущаться, ожидаемое. Не лишенное настоящей приподнятости, но не сенсационное.

Было всем известно, что мастер Штвортня — обезумевший эротоман и что любой разговор, фразу и обстоятельства он пускает по излюбленному направлению. Однако настоящий переполох возбуждал тот факт, что мастер, используя свои небывалые таланты, повсюду, где только удавалось, оставлял знаки своей одержимости. У Штвортни были золотые руки, он умел сделать практически всё, всяческим ремеслом и всяческим искусством занимался, играл на различных

инструментах, отлично рисовал и писал красками. И было известно, что если закажешь у Штвортни, например, шкаф, то это будет шкаф, красотой и прочностью забивающий все кальварийские, гданьские и другие шкафы всего мира; но было также известно, что где-то в его глубине Маэстро — словно авторскую подпись — скроет тревожную деталь, разнузданный орнамент, неприличную мелочь. И это будет не какая-то намазанная столярным карандашом голая жопа с огромными сиськами. Какое там! Мастер создавал совершенные мифологические сцены, тициановские ню, рубенсовские формы; он был реалистичен, как Энгр, чувственен, как Ренуар, извращен, как Мане и выразителен, а главное неуничтожим, как японская гравюра. Не нужно прибавлять, что по образцу старых мастеров Штвортня часто придавал своей обнаженной натуре всем хорошо знакомые соседские лица. Самым знаменитым было изображение мускулистого сатира с головой пастора Калиновского, обнимающего голёхонькую нимфу с застывшим в спазме полной отрешенности лицом Рифки Дересевич — масло на доске. Доской была нижняя часть огромного трапезного стола, заказанного приходом в Соборный дом в честь основания нашей кирхи, — история создания этого шедевра, того, как он был утаён, обнаружен и уничтожен, — это тема для отдельного рассказа.

Было ясно, что означает и чего касается выученное шипенье женщин. Мало того, что шахматный столик, так еще и с порнографией в середине. Но Мастер, который обожал реакцию, полную более или менее притворного возмущения, на этот раз даже не дрогнул.

— Ждать, пока что ждать, — на его бледном лице выступил, пожалуй, настоящий эротический румянец, — ждать, пока ждать... Не годится, чтобы шахматная доска была наклеена на доску стола. Больше скажу, господин инженер, не годится, чтобы она была вклеена, введена в доску стола. То есть она должна быть введена, но это не может быть шахматная доска, взятая из каких-то фабричных шахмат, это должна быть оригинальная шахматная доска. И надо ее сделать, надо вырезать шестьдесят четыре поля; половину покрыть темным лаком, половину — бесцветным. А лучше было бы темные поля сделать из ореха или даже, еще лучше, из черного дуба, а белые — из клёна; это с сосной гармонирует и будет элегантно. Ждать! Пока что ждать!

V

Ждать, пока что ждать! Под конец августа мастер Штвортня появился с готовым чудом подмышкой. Он поставил его

осторожно на нашем выложенном полевыми камнями дворе и слой за слоем начал разматывать “Рабочую трибуну”. Снятие всё новых завес должно быть подобно обнажению тела, стриптизу, — но не было. То есть, с одной стороны, это было что-то больше, а с другой — что-то меньше. Больше: потому что заботливость, с которой Штвертня снимал очередные листы “Рабочей трибуны”, была какой-то сверхзаботливостью и сверхнежностью; с такой крайней деликатностью женщин не раздевают, с такой крайней деликатностью даже атомную бомбу не разбирают. Меньше: потому что медлительность движений мастера вытекала еще и из того, что он был сильно под газом — сенсация сама по себе: Штвертня совсем почти не пил.

Наконец непонятная архитектура стала видна, наконец перед нами распростерся вид на собор в пуще, на статую, извлеченную из болот, на фреску, раскрытую из-под слоев римской штукатурки, и мы медленно приближались к ее кривизнам, симметриям и сияниям, и было неизвестно, что говорить, потому что такой красоты и такого бескорыстия никто из нас до сих пор не знал. И никто не ведал, что нечто подобное существует, что вообще оно может существовать. Даже у женщин в глазах был восторг, потому что чувствовалось, что без помощи Божией такую вещь не призовешь к существованию. А потом мы начали дотрагиваться, проверять, выдвигать и задвигать ящик, считать поля; исследовать, как поблескивает шахматная доска под углом. И всё добросовестней мы осматривали шедевр мастера Штвертни, всё внимательней следили заломы, перескоки и перспективы, и потом уже перестали делать вид, будто осматриваем ради красоты конструкции, ради цвета, ради игры света. Всё нетерпеливей и совершенно открыто и — да-да — бесстыдно мы изучали сантиметр за сантиметром в поисках любовной печати, которая на столь извращенном предмете должна была быть бесконечно извращенной. Мы выдвигали ящик и осматривали его днище с обеих сторон, и выемку для ящика, и заглядывали под доску стола и повсюду. И нигде ничего не было, и мы бросали неуверенные взгляды на мастера, который стоял поодаль и курил экстра-крепкие, поглядывали в надежде, что он нам что-нибудь подскажет, укажет след, ведущий к эротической миниатюре, которую, быть может, придется изучать через увеличительное стекло, но это изучение будет того стоить, однако мастер ничего не говорил, курил, слегка пошатывался, приходил в себя, а как пришел и как докурил, покрутил отрицательно головой и сказал: — Ничего нет; этот столик — сам по себе трах.

VI

Всё было уже готово, висячая кухонная полка, стеллаж на всю стену и бесчисленные картонные коробки стояли во дворе под навесом, где, говорят, еще после войны стояла плохонькая коляска и где продолжало блуждать ее рассыпавшееся и заржавевшее привидение. Сервизы, комплекты столовых приборов, полотенец, на протяжении от трех до десяти лет не распакованные свадебные подарки, пылесос, альбомы с фотографиями, книги, торшер, невероятно красивая этажерка, гигантская кушетка, кресло еще больше — подарок епископа, хрусталь, радио “Столица”, несколько тюков материи на оконные занавески — всё должно было уместиться в краковских двух комнатах, где мы наконец начнем жить как люди.

— Тут вы не живете как люди? — спрашивала бабка Пехова. — На голову вам льет?

— На голову не льет, но это не значит, что мы живем как люди. Мы тут вообще не живем. Мы тут умираем. Во всяком случае я тут вот-вот умру.

Голос матери дрожал чудно́ и по-детски. В подробностях я не слишком-то знал, о чем идет речь, но что игра идет не на жизнь, а на смерть, было ясно. Во всяком случае это было ясно не меньше чем раз в неделю. Раз в неделю отец приезжал из Кракова, тогда мою постель с большого брачного ложа, где мне отлично спалось, переносили на твердую лежанку под стенкой, где меня мучили страшные сны и где я всегда просыпался среди ночи. Лампочки у изголовья родителей были зажжены, отец в одних пижамных штанах кружил по комнате, перекладывал предметы с места на место, рылся в книгах и повторял, почти кричал спазматически: — Прошу прощения, что я жив, я вправду прошу прощения за то, что я жив! Прошу прощения, что я жив, но это от меня не зависит, хотя кто знает, кто знает! — Мать водила за ним усталым и враждебным взглядом, за стеной, в маленькой комнате, где спали дед с бабкой, раздавался кашель, скрипел пол, слышно было шлепанье шагов, открывались двери, в них появлялся дед и говорил: — Успокойтесь, мы вас очень просим, успокойтесь. Успокойтесь — в конце концов, у вас обоих высшее образование! — Отец находил какую-нибудь книгу, надевал на голое тело пиджак и шел в кухню, мать гасила свет, я еще слышал ее отчаянный, спазматический шёпот, засыпал; возвращались кошмары.

Утром за завтраком всегда заходила речь об инженере Ковале, который уже сделал планы всего чердака, стены станут выше,

станет светлее, будет там пять комнат и столько места, что Юзек может себе хоть два стола для пинг-понга поставить. Отец, бледный и невыспавшийся, отвечал в бешенстве, чтобы ему не морочили голову столами для пинг-понга, потому что столы для пинг-понга как часть жизненного плана — это путаница всего со всем, это бесовство. Он не собирается играть в пинг-понг, он собирается еще что-то в жизни сделать. — Такой у меня каприз, что хочу еще что-то в жизни, в соответствии со своим образованием и интересами, сделать; я знаю, что вам этого не понять и что, по вашему мнению, я должен тут сидеть и пердеть в табуретку, но я, к сожалению, не рефлексирую! Я хочу что-то сделать в науке! Эйнштейном я не стану, потому что война кусок жизни отняла и этого не нагнать, но я по крайней мере хочу! Понимаете? Я по крайней мере хочу! И ему, — отец мотал головой в мою сторону, — и ему тоже полагается иной старт. Иной, чем мне. Много я для него сделать не сумею, но по крайней мере иной старт обеспечить могу.

VII

Я укладывался каждый день. Что ни день заново складывал в старый темно-синий чемодан книжки и игрушки. В зависимости от настроения обещал им путешествие в Краков или осуждал на вечное поселение в Висле. “Ты сегодня ничем не отличилась, — говорил я железной дороге “Пико”. — Переезд в Краков — это награда, которой ты не заслужила”, — и вынимал вагончики и рельсы, и демонстративно запирал чемодан, чтобы жертва осознала неотвратимость своей судьбы. — “Разве я от тебя многого требую? — спрашивал я у финского ножика. — Нет, я требую от тебя элементарных усилий. Повторяю, элементарных усилий. А тебя и на это не хватает. К сожалению, Краков — это город для крутых людей, не для слабаков. Станция Вылезайка!” — “Извольте, — говорил я ледяным тоном альбомам с марками, извольте, если вам не нравится, сидите тут и дальше! Извольте, сидите тут до конца света и пердите в табуретку!” На следующий день я возвращал милость отвергнутым и сбрасывал в пропасть чешские мелки, гэдээровские комплекты миниатюрного инструмента, перископы, диапроекторы, магниты, приключенческие и научно-фантастические романы, которые уже чувствовали себя почти как в Кракове (слишком рано вы почил на лаврах, бродяги!); и так всё время. Я выпендривался как сумасшедший, был владыкой абсолютным и абсолютно капризным. Я покидал свой мир и с ужасающим наслаждением малолетнего императора сталкивал его в пропасть.

Неподвижное зеленое полотно воды в бассейне, отлично видимая в рыжем сиянии геодезическая вышка на Чантории, мяч, темневший от влажной травы на стадионе “Старта”, запах скошенного сена у виллы “Альмира”, темное сияние кожи у девушки, сидевшей передо мною в кино, воздух, сгущавшийся после полудня, как увеличительное стекло, — всё это должно было остаться здесь навсегда покинутым, лишенным моего присутствия, моих взглядов и прикосновений. Мое отсутствие было наказанием, а наказывать было сладко.

Но вечером кот Глупышок вскакивал на мою постель, я чувствовал, как у него бьется сердце, ласкал его доверчиво льнувшую к перине голову и ревел, и выл от отчаяния. Было прекрасно известно, что здесь, в огромном доме со двором и садом мне будет в миллион раз лучше, чем в краковских двух комнатах, и было прекрасно известно, что мы будем приезжать на праздники и на каникулы; и тогда я буду с ним, сколько душа пожелает; и всё рушилось, и целое небывалое лето 1962 года было таким выразительным, чтобы заслонить мое отчаянье, и по сей день я уверен, что всё зло моей жизни и все мучения мои — это расплата за то, что я покинул кота Глупышка. Своим ужасающим, непереносимым одиночеством я расплачиваюсь за год его одиночества. За последний год его жизни, когда он искал меня в пустых комнатах, когда вскакивал на холодную постель, когда обнюхивал оставленные предметы, когда в надежде, что проснется и всё будет по-старому, засыпал и просыпался, а меня около него не было. Путь моей жизни был записан в зверином сердце кота Глупышка. Я не выбрал этот путь. Отец во время переезда пропал без вести — это было знамение гибели. Но оставить Глупышка — это был выбор гибели.

VIII

Чудно одетая дачница шла в сторону Оазиса, с легким сердцем избранника я поспешал следом за ней. Она свернула в Дегтинку; сегодня на ней было фиолетовое в огромные, рыжие папоротники платье с длинными рукавами. Когда она была под виадуком — пропала; на этот раз это выглядело так, будто она пуще обычного растаяла в воздухе. Я немножко посмотрел во все стороны, без паники и не особо нервничая, — ее внезапные исчезновения были в порядке вещей. Я вернулся домой. Во дворе стоял специальный грузовик со специальной брезентовой крышкой.

Отец целое лето обещал, что за нашими вещами приедет покрытый специальным брезентом специальный грузовик из

ГМА со специальным шофером. Наконец он приехал, и ничего специального. Я был разочарован. Не самым грузовиком, потому что в конце концов я настолько знал гиперболичность отца, чтобы не воображать себе никаких фантастических кузовов или золотых брезентов, но тем, что мир стронулся с места. Собранные под навесом мебель, картонные коробки, предметы были необычайнее в неподвижности, чем теперь — штука за штукой — складываемые под брезент. Работали все мужчины, а на ящике стоял и властно — и с фальшивой улыбкой — руководил работой неопрятно заросший тип с высоким, переходящим в лысину лбом.

IX

Я, разумеется, и понятия не имел, что он как две капли воды похож на человека, с которым полвека с лишним назад играл в шахматы Лев Толстой. У меня не было и тени каких-то предчувствий, какой-то божественной интуиции; не доходили до меня никакие внеземные сообщения о том, что одаренный руководящими склонностями специальный шофер специального грузовика из ГМА, который только что приехал из Кракова за нашими вещами, похож на зятя Льва Николаевича Толстого.

Я, кажется, еще об этом не упоминал, но филигранная и безмерно приткая русистка, 1968 г.р., под конец неопровержимо установила, что на фотографии, которая меня так поглотила, автор “Анны Карениной” играет в шахматы со своим зятем Михаилом Сергеевичем Сухотиным. Я не мог упомянуть, потому что, когда начинал писать и вести розыски, еще этого не знал. Теперь знаю и пополняю данные. В игру входил еще друг Толстого, исповедник толстовского учения Владимир Григорьевич Чертков, который, как заверяет русистка, тоже с ним игрывал в шахматы и которого тоже фотографировали в ходе такой партии.

Однако на снимке, о котором я все это время рассказываю, несомненно изображен зять. В пользу этого говорят также аргументы натуры, я бы сказал, духовной: у типа за шахматной доской поза смиренная и подхалимская, как будто он просит прощения за то, что не проигрывает с первого хода. Наверное все, кто играл с Толстым, принимали такую позу, но у игрока, которому Толстой вдобавок приходился тестем, такая поза несомненно должна была быть выразительней. В конце концов, когда крутишь с дочерью автора “Воскресения”, надо оказывать ему повиновение. Что-то за что-то.

X

Ни я, ни отец, ни дед, ни оба дядюшки, ни помогавшие грузить имущество на грузовик парни от Никандовых — никто из нас не знал, что типчик — двойник зятя Толстого, но все мы еще как хорошо знали, что что-то с ним не так.

Он метался по платформе как сумасшедший, выкрикивал команды в самом настоящем неистовстве, потом утихал и делал вид, что всё это шуточки и актерство и что он ко всему подходит с бесконечной дистанцией. Через секунду его снова забирало, и он безумствовал, и выставлялся перед нами виртуозом всяческой упаковки, погрузки и размещения предметов. Было ясно, что дает он нам глупые команды и излишние приказы, позирует в неведомо какой роли, а при этом он нечеловечески потел. “Мокрый, как мышь, а командует”, — сказал в конце концов вполголоса дядя Аблегер, и, как бывает в таких ситуациях, глуповатое, посконное, может даже неприличное, потому что в общем-то неизвестно что значащее предложение разрядило обстановку и одновременно приобрело значение какого-то афоризма, а то и заклęcia. “Мокрый, как мышь, а командует, — повторяли мы, поднимая картонные коробки, и подышали со смеху, — мокрый, как мышь, а командует!” Беззащитный перед нашим смехом зять Толстого, желая классическим способом затушевать возможность того, что смеются над ним, смеялся вместе с нами. Выходило у него это через силу, потому что он смеялся с усердием идиота, который делает вид, что лично понимает неизвестную ему остроту; но постепенно и его, и наш смех угасал; постепенно мы приближались к великому финалу — всё уже было под брезентовым верхом, якобы с большим или меньшим совершенством уложенное, закрепленное, перевязанное, заклиненное. Шахматный столик, завернутый в такое количество слоев “Рабочей трибуны”, что напоминал макет церкви или атомного гриба, стоял, помню, почти посередине, плотно закрепленный коробками; еще бабка Пехова подала сетку яблок, еще бежала через двор с завернутым в уже протекающую жиром бумагу пакетом котлет на целую неделю; еще я в последний момент принял решение простить леность и все-таки взять с собой в Краков “Таинственный остров” и кинул его в середину, и взрываюсь, взрыв. Последний абзац Книги Исхода уже составлен.

Дело шло к двум часам, был, пожалуй, самый жаркий день лета, мы обливались фантастической ледяной и пахнущей плодородными лугами водой из черного резинового шланга, вытащенного из прачечной, бабка на кухне готовила обед, и вдруг оказалось, что зять Толстого куда-то пропал. Еще минуточку назад он был возле грузовика, еще минуточку назад,

раздевшись до пояса, он обливался, как маньяк, и выставлялся каким-то безмерным знатоком искусства обливания, еще минуточку назад там и сям крутился, а тут — нету. Нету мужика. В клозете нету, под брезентом нету, во дворе нету, перед домом нету. Господи Иисусе! Уязвленный нашими смешками, нашим без конца повторявшимся “Мокрый, какмышь, а командует!”, он обиделся и пошел куда глаза глядят! Перестарались мы: мужик же рук не покладал, работал, как вол, вился, как уж на сковородке. И что с того, что начудил? Лучше чудик, но работник, чем нормальный, а лодырь. Не выдержал и пропал. Мы такую реакцию знали. Пропадать без вести было прочной привычкой бабки Пеховой. Когда уже подряд такое творилось, что не выдержать, она брала и пропадала, хоронилась где-то в глубинах дома, и бывало, что долго, в полном отчаянии, приходилось ее разыскивать. И вот еще одна личная запутанная история. Откуда нам было знать, что у него то же самое? Но он же не в доме пропал, не схоронился на чужом чердаке, не забрался под кровлю. Двинулся куда-то, и только мы его и видели. Ничего себе дела. Мать несколько дней в Кракове, новую квартиру готовит, место между новыми экстра-диван-кроватями для вислянской рухляди освобождает, а тут — неизвестно вообще, ради чего старается. Отец один не поедет, у него прав нету. Вообще ни у кого в доме прав нету. Парни от Никандовых умеют ездить, пожалуй, на чем угодно, но прав тоже ни у кого из них нету. Трагедия. Попросту трагедия. А скорее — как потом оказалось — subtilный пролог трагедии.

Потому что дедушка Пех тоже исчез, исчез, но ненадолго. На — скажем — четверть часика. После чего вернулся и привел устыженного и в высшей степени смущенного зятя Толстого. Он не хотел причинять хлопот за домашним и, как он понимает, в некотором смысле прощальным обедом. Не хотел забот причинять. Он тут не гость, он тут на работе. На минуточку выскочил в город за холодным лимонадом. За холодным лимонадом перед поездкой и за подкреплением. Дед махал рукой, особенно на слова “лимонад” и “подкрепление”, но всякая двусмысленность жемчужным смехом и спазматическими покрикиваниями женщин тут же была затушевана. Как можно за лимонадом, когда в доме столько компоту наготовлено! Целые гектолитры! Из своих яблок! Из нашего сада! Пей да пей, и всё равно всего не выпьешь. А даже если бы, то вмиг новый сварим! Или прошлогодний откроем! Какого хочет! Черешневый! Сливовый! Грушевый! Пейте, пожалуйста, сколько влезет! И не спрашивайте, а чувствуйте себя как дома и сами угощайтесь! А теперь к столу, обязательно!

Обед перед поездкой съесть надо! Обед обедом! Компот компотом!

Компот зять Толстого действительно целыми горшками заглатывал, остальное, однако, не очень в него шло. Бульона с макаронами, может, две ложки, мяса едва-едва, картошка и овощи размазаны по тарелке. В целом это было непонятно, не случилось в наших краях, чтобы взрослый человек не смёл тарелку дочиста. Все-таки что-то с ним было не так. Язва желудка? Что-нибудь еще похуже? Не дай Господи!

Он непрерывно путано объяснялся: мол, просит прощения, но перед дорогой — особенно перед такой тяжелой дорогой — ест мало, потому что обильная еда снижает психофизическую выдержку. Не слишком-то было известно, в чем дело: впервые мы слышали, чтобы еда вредила. Но нас, пожалуй, продолжали терзать угрызения совести, и всему, что он говорил, все усердно поддакивали: чего тут разговоры говорить, когда пора в дорогу. Звон на башне замирает, мамка ужин собирает. Пора, пора, рога трубят.

Еще перед самым стартом зять Толстого заявил, что должен расправить кости, а в особенности позвоночник, и слегка пройтись, и снова пропал за воротами; однако на этот раз он вернулся молниеносно и в неожиданно отличном настроении. Дед снова махал рукой, но они уже трогались: отец сидел по правую руку, я открывал ворота, огромный, как пригорок, “Стар” покатил по полевым камням, в голубом облаке выхлопных газов выехал на дорогу, свернул влево, двинулся к центру и исчез в темнеющей перспективе, и пропал вовеки. Камень в воду. Вовеки веков. Ни слуху, ни духу. Вчера они были, сегодня уж нет.

Я слонялся по дому, из окна на чердаке всё было видно, как на ладони, всё вдруг стало таким близким и четким, будто я глядел в бинокль: бегуны бежали вокруг стадиона, пограничники шли вдоль границы на Стожке, кот шел через сад точно по диагонали, в туче над Яжембатой было что-то страшное, мост гнулся под черным “Вартбургом”. В опустелой комнате я открыл записную тетрадь в зеленом переплете с любовно-воровским романом, но в голову мне ничего не приходило. Я подумал, что через несколько дней — как только я наконец окажусь в новой квартире, о которой отец рассказывал такие чудеса, как выйду на высокий балкон и увижу внизу стадион “Краковии”, как разгляжу из другой комнаты нагроможденные, заходящие друг на друга, как крылья бипланов, городские крыши — наверняка всю примусь писать. В субботу мы поедем с дедушкой Пехом поездом. Висла

— Голешув — Скочув — Чеховице — Хыбье — Тшебиня — Краков-Главный; в воскресенье немного огляжусь, а в понедельник возьмусь за книгу. Как видно, я исключительно рано оказался в когтях старого писательского предрассудка: мол, перемена места поможет. И исключительно долго в них оставался. До недавнего времени, честно говоря.

Я закрыл тетрадь и уже собирался помчаться на стадион, вот-вот должна была приехать сборная Польши — может, даже уже приехала и начала первую тренировку. Я завязывал кеды, наверно, я по дороге натолкнусь на дачницу в очередном невероятном платье с длинными рукавами, я уже был на пороге, уже нажимал на дверную ручку, когда из Кракова позвонила мать.

— Что происходит? Когда они выехали? Их нет и нет! Выехали около двух, а сейчас уже семь! Что такое?

Дед, обычно владевший собой лучше всех домочадцев, на этот раз сразу принялся браниться под нос: мол, не диво. Не диво, что не доехали, потому что если шофер по дороге в каждой забегаловке лимонаду, лимонаду, лимонаду, холодного лимонаду должен напиться, то до завтра они не доедут. В недобрый час сказано. До завтра не доехали. И вообще не доехали. Так никогда и не доехали. Гром с ясного неба ударил, и всё сгорело.

Весь вечер — звонки. Из Кракова и в Краков. Туда и обратно. Через междугороднюю. Правда, пани Гертруда — что извечно была телефонисткой и извечно была безнадежно влюблена в деда — соединяла без очереди и быстро. Но что толку от быстрых соединений, если не о чем говорить. Не о чем, потому что не о чем. Есть они? Нет. Через час — есть? Нет. Всю ночь — есть? Нет. Под утро — есть? Нет.

Перед полуднем бабка заперлась в последней комнате, и оттуда раздался скрип почти никогда не отворявшегося шкафа. Я боялся. Боялся, что в никогда не отворявшемся шкафе висит похоронная одежда. Боялся приготовлений к похоронам отца. Я не хотел — когда его в конце концов найдут, — чтобы он лежал в открытом гробу в самой большой комнате. Не хотел, чтобы бабка протирала его пергаментное лицо спиртом. Не хотел спать под одной крышей с его трупом. Из двух зол — лучше, чтоб он никогда не нашелся; чтобы вместе со специальным шофером из ГМА за рулем специального грузовика они приземлились в Америке или на Луне.

Сегодня, когда “нападения на фуры” стали хлебом насущным, когда почти ежедневно целые таборы грузовиков или целые составы поездов исчезают без следа, словно испарились, — ноль сенсации. Но тогда? Нагруженный до краев огромный “Стар” пропал без вести? Невозможно. Во всяком случае милиция не верила. И вислянские и краковские милиционеры не верили, с сомнением крутили головой, присматривались к нам с тенью жалости и не уставали спрашивать, не было ли у отца каких-то планов. И не случилось ли ему до нынешнего исчезновения раньше исчезать? И не ездил ли он куда-нибудь перед нынешней роковой поездкой? Куда бы это? Да вот именно, куда? Может, в последнее время у него были какие-то нетипичные выезды по службе? Может, за границу? Может, подавал бумаги на заграничный паспорт? У вас, кажется, есть знакомые в Лондоне? Были оттуда в последнее время какие-нибудь письма? Мы ни на что не намекаем. Абсолютно ни на что. Но если кто-то пропадает со всем имуществом, то обычно он знает, что делает. И обычно через некоторое время находится. В Лондоне или Мюнхене. Или в Западном Берлине. Исключено? Наверняка? В таком случае не будем терять надежду. Патрули — на трассе, и как только что-то станет известно — дадим знать. В конце концов, человек не иглока. Если он не на пароходе, плывущем в Америку, то найдется. Найдется. Найдется роковая машина. Найдется мистический “Стар”. Найдется. В середине дороги, в середине жизни, в чистом поле. Заслоненный желтым пригорком и орешником. С почти полностью сожженным брезентом.

На третий день утречком мастер Штвортня съедет с гор на своем знаменитом, помнящим еще войну “виллисе”, заберет деда, они без единого слова тронутся в путь и меньше чем через три часа внимательной езды доберутся на место, как по веревочке. Вдруг с правой стороны на них пахнёт как бы гарью, запахом паленого, увидится едва заметный дым, и они свернут, хотя дороги не будет. Только через несколько секунд на траве появятся следы шин. Отец, заросший и угнетенный, будет сидеть на снятой сверху разорванной коробке, из которой сыплются словари и энциклопедии; лицо закрыто ладонями, локти опираются на шахматный столик.

В первый момент они даже не заметили трещины, потому что основание и доска были страшно крепко и запутанно связаны шпагатом, и выглядело так, будто этот шпагат остался еще от упаковки, будто бесчисленные слои “Рабочей трибуны” сняты, а шпагат оставлен. Только потом оказалось, что он, видимо, все три дня, которые провел в поле, пополам расколотый столик всяческими способами связывал в целое.

Ровно, совершенно ровно, пополам был расколот шедевр мастера Штвиртни — как от удара неизвестно до чего сильным и до чего точным острием. На треснувшей шахматной доске — жирная бумага от котлет, надкушенное яблоко, обгорелый лоскут “Рабочей трибуны”. Да и вокруг было полно пожженных “Трибун” — сигналы он подавал зажженными газетами или что? Зятя Толстого — ясное дело — ни следа, что, может быть, и к лучшему.

Вдруг зароилось: окрестные жители бежали по полям, милицейская “Ниска” bravурно подъезжала, пожарная машина со включенной сиреной, с командой к делу готовой, приближалась от горизонта, небеса расступались.

Оставленные зятем Толстого ключики — оказалось — торчали в зажигании. За исключением сожженного брезента никаких нехваток в автомобиле не было; вещи совершенно не потревожены огнем, даже вязки и крепления не затронуты; спокойно можно было со всем этим пускаться в Краков. При полном параде, под хор клаксонов, в сопровождении дорожной милиции, с лоцманами-добровольцами во главе. Триумфальный въезд на Дембницкий мост был готов. Со всем-всем, может, даже с оркестром. Со всем-всем, за исключением расколотого пополам и связанного шпагатом шахматного столика.

XI

Какие произошли катаклизмы? Какие бури? Какие апокалипсисы? Что за чем следовало? Зять Толстого ослаб до изнеможения и решил на глубокой обочине чуточку вздремнуть? Земля под ним расступилась? Еще за одним, на этот раз бесповоротным, лимонадом помчался? Феноменальная русалка, лучась объятьями, внезапно перед капотом двигателя явилась и заманила их? “Стар” ни с того ни с сего загорелся и в паническом пожаре свернул куда попало? Таинственный шофер на помощь ринулся, но пекло его по пути поглотило? Молния таинственной мести ударила и шахматную доску пополам рассекла? Все возможности и все события смешаны одновременно?

Отец молчал. — Не узнаешь никогда, — отвечал он на годами тянувшиеся домогательства матери. — Не узнаешь никогда. Слово даю: никогда. — И действительно — никогда он даже не намекнул.

Тогда, в середине дороги, в середине жизни, за желтым пригорком — как зашел разговор о столике, что с ним делать,

брать в Краков или лучше обратно, пускай мастер Штвортня в Вислу возьмет и спасает, — он не столько ничего не говорил, сколько попросту ничего не мог сказать. Даже если б захотел, не мог слова выжать — горло совершенно свело. Плач?

Мастер вдобавок не рвался спасать. Не нравилась ему эта история. Идеально ровную, как бы лобзиком произведенную трещину осмотрел, подробно изучил и головой с чувством полной неотгадочности покрутил. В небо поглядел, как если бы только там могли быть пилы, что так дьявольски пилят.

Забрать обратно согласился, привезти привез, никакого труда шахматный столик в вездеход поместить. Особенно двумя частями. Не спешил клеить или как-нибудь иначе связывать в целое. По всей видимости, с силами, что так громоносно действуют, в поединок вступать не хотел. Привез и поставил на площадке под навесом, возле привидения плохонькой коляски. Ждать, пока что ждать. Теперь мне неудобно, при случае возьму и поправлю. Ждать, пока ждать. Пока что, да пока, да еще пока что. Через девять лет мастер Штвортня умер. Огромная похоронная процессия на всю Вислу шла из кирхи на Гроничек, над могилой мы ему спели про свет вечный: “Свете сильный и могучий, разгоняешь злые тучи...” Пели мы прекрасно и от всего сердца, ибо всем было ясно, что мастер Штвортня теперь в свете Божиим.

Прислоненный к стене шахматный столик превращался неведомо во что. На протяжении десятилетий он зарастал корой птичьих испражнений, одеревенелыми стеблями и окаменелой пылью. Тот, кто не знал, никто не угадал бы, что значит эта бесформица.

Иногда я вижу во сне большой “Стар”, сворачивающий в темное поле. На нем горит брезент, а в желтом сиянии отец расставляет шахматы на самой прекрасной в мире доске. С кем-то начинает играть, но с кем, не знаю, ибо тот — во тьме.

XII

Написав эту историю, я не устоял перед сентиментализмом: собрал изъеденные зноем, морозом и короедом останки, привез в Варшаву и отдал реставрировать славным мастерам из галереи старинной мебели на Зомбковской. На прошлой неделе — когда конструкция обрела прежний блеск и роскошь, когда она снова стала прекрасной, как музыка (еще лучше, ибо музыка прекрасно стареет) и когда я с помпой поставил ее в большой комнате на Сенной — я обнаружил в ящике две пешки: белую и черную. Я был уверен, что их там не было.

Звоню мастерам: — Откуда пешки? Не было же. — Были, но неподвижные и почти невидимые, в древесную массу вросшие, окаменелой паутиной заросшие.

Две битых пешки. Начало каждой шахматной партии во всем мире. Начало партии Льва Толстого с зятем. На фотографии отлично видно, что они только что начали. Произвели первый обмен пешками. Белая пешка в ящике и черная пешка в ящике. Дальше всё возможно. Следующие ходы могут пойти в любом направлении.

ОБЫКНОВЕННАЯ ЛЮБОВЬ

– Жизнь у нас самая обыкновенная – здесь все так живут... Необыкновенно лишь то, что в этой нашей жизни случилось три чуда: во-первых, выжила я, во-вторых, выжил он, а третье чудо – это то, что мы встретились.

Глаза у Ирены веселые и в то же время внимательные. На своем родном языке она говорит медленно, с певучим кресовым акцентом. Петер высказывается реже: он знает по-польски несколько, может, полтора десятка слов, которым научила его жена. Правый уголок губ и щека у него неподвижны – уже много лет его лицо частично парализовано.

За окном квартиры Эппов в обшарпанном блочном доме недалеко от магаданской телевышки играет весеннее солнце, извлекая из каменных осыпей сочный малиновый цвет и яркие изумрудные пятна с прожилками охры и багрянца. Невероятная пестрота, словно взятая с палитры Ван Гога, противоречит представлениям об этом мрачном месте. Но такое буйство красок продолжается здесь всего несколько дней в году. Скоро мхи на сопках опять поблекнут и уступят место бурым оттенкам, а через несколько недель всё скроет ослепительная белизна – холодный, смертельный цвет.

Ирена и Петер торжественно сидят за накрытым столом, на котором стоят сервиз и пирожные, и от всего сердца угощают нежданного гостя из далекой Польши. На серванте среди безделушек, рядом с вазой с дорогими здесь цветами, гордо стоит цветная фотография улыбающегося сына. Рядом икона Остробрамской Богоматери – намного больше фотографии.

Они рассказывают о своей любви. И хотя ни один из них не произносит вслух этого слова, вся их совместная жизнь свидетельствует о силе чувства, которое помогло им преодолеть презрение и отчаяние. На Колыме, где несколько дней в году склоны гор переливаются всеми цветами радуги, Ирена и Петер, как тысячи других, прошли через горнило обезчеловечивающей системы.

Впрочем, американцев, японцев и туристов, едущих в Магадан из Европы, лагеря не интересуют. Они прилетают с Аляски, Хоккайдо и из глубины России, обвешенные охотничьим и рыболовным снаряжением. Они платят, чтобы почувствовать

возбуждение, охотясь в каменистой тайге или ловя рыбу в кристально чистых реках, а по вечерам пьют стаканами водку с местными. Получается дешевле, чем, скажем, в Канаде. В сезон число рейсов из Анкориджа не намного меньше, чем из Москвы. И лишь иногда во время таких вечерних посиделок обнаруживается, что все встреченные здесь местные – это бывшие зэки и спецпоселенцы или их дети, от рассказов которых у гостей может стынуть кровь в жилах совершенно независимо от охоты или рыбалки.

Когда я ехал через Колымский край, я еще не был знаком с Эппами, поэтому не искал остатков женского лагеря, где пьяные вохровцы насиловали Иренку Янушкевич, связную Армии Крайовой с Виленщины, которой не было и двадцати. Не пытался я разглядеть и мужской лагерь, в котором молодого парня Петера Эппа перед каждым выводом на лесоповал били по лицу за то, что он – запорожский немец. Ирена и Петер считают, что вскоре в те места не сможет попасть уже никто: они постепенно исчезают, а на их месте вырастают современные микрорайоны. Колымский климат – пятидесятиградусные морозы и ураганный ветер – медленно, но верно замечает мрачные следы деятельности человека. Быть может, настанет такое время, когда сведения о Дальстрое можно будет найти уже только в архивах “Мемориала”, в “Колымских рассказах” Варлама Шаламова да в рассказах старожилов этого недружелюбного края. Ирена говорит, что несколько лет назад на магаданских дискотеках фурор среди молодежи производили подсвечники из... человеческих черепов, найденных в старых лагерях.

– И вы знаете, многие не видели в этом ничего особенного! Только некоторые старики возмущались.

В Бутугычаге, лагере, в который я попал благодаря друзьям из “Мемориала”, природа не торопится замечать следы. Может, она дает людям шанс увековечить это место? На дне труднодоступной котловины в колымских горах валяется множество ржавых железок: обломки кайл, изъеденные ржавчиной лопаты без черенков. Между беспорядочно разбросанными шахтерскими вагонетками растет высокая трава. Всюду торчат погнутые рельсы, а перед самым большим ангаром с выбитыми окнами высятся желтоватые кучи чего-то, напоминающего гравий. В штольнях на соседних склонах зэки добывали свинцовую руду и свозили ее на вагонетках вниз, к сараю, называвшемуся “заводом”. Там другие зэки при помощи примитивной технологии в огромных чанах обогащали минерал. Из-за зарослей почти не видна бетонная

взлетная полоса, с которой самолеты с обогащенной рудой улетали куда-то в глубь СССР. Хуже всего сохранились бараки из досок и глины. Ни у одного из них уже нет крыши. Такое впечатление, что всё это было брошено в страшной спешке, как будто в панике. Лагерь был закрыт вскоре после смерти Сталина.

Ирена и Петер побывали в нескольких колымских зонах, но ни он в Бутугычаг, ни она в близлежащую “Вакханку”, к счастью, не попали.

- Наши зоны от тех ничем особенным не отличались, кроме одного: там люди умирали быстрее, чем в других местах. Но Она нас берегла, заботилась о нашей судьбе, - Ирена поправляет Остробрамскую Мадонну, а Петер добавляет:

- Там мы бы не выжили. Заключение выдерживали около полугода, охранники немного дольше. И те и другие умирали в основном от лучевой болезни, - и рассказывает, что только после распада СССР выяснилось, что в Бутугычаге вместе со свинцовой рудой добывали урановую и что полученный там расщепляющийся материал был использован для создания первой советской атомной бомбы.

Я интересуюсь, что могла означать нацарапанная на стене полустертая надпись “Убей меня 15.11.51”, на которую я наткнулся в одном из бараков Бутугычага. Кто и зачем назначил срок собственной смерти?

- Я сам это пережил. Такие просьбы никого не удивляли, - здоровая половина лица Петера слегка дрожит. - Люди не выдерживали. Физическое истощение и постоянный страх вызывали острые неврозы и психические болезни.

Было время, когда Петер чуть не стал доходягой. У него даже начали появляться черные мысли о том, чтобы самому окончательно избавиться от этой боли и унижения или кого-нибудь об этом попросить. Он выжил, потому что в самый трудный момент ему помогли другие заключенные. Потом, через два года после окончания войны, он попал из колымского лагеря в Магадан, на стройку. И хотя ему было запрещено покидать спецпоселение, он представлял себе, что так выглядит “почти свобода”. А еще позже, когда на этой стройке он познакомился с Иреной, ему стало казаться, что он в раю.

Путь Ирены на магаданскую стройку начался с ареста сотрудниками НКВД в занятой советской армией Вильнюсе. Потом был лагерь в Иркутской области, где, как и Петер, она

работала на лесоповале. После этого она копала торф в Якутии, на берегу Лены, пока в конце концов не оказалась в Дальстрое. Она отличалась красотой и хорошими манерами, а ее “панское” поведение бросалось в глаза. Может, именно поэтому ее и облюбовали вохровцы. Она была их “игрушкой”. Ирена не хочет рассказывать об этом кошмаре.

– Не спрашивайте об этом, – она закрывает лицо руками. – Иногда мне снится унижение, которое я тогда пережила, и я тут же просыпаюсь с криком, обливаясь холодным потом. Петеру приходится долго меня успокаивать. Только он умеет это делать.

Однако стройка – это все-таки уже не лагерь. Люди могли встречаться, зарабатывали настоящие деньги, за которые можно было что-то купить. Кроме того, у них было нечто вроде “свободного времени”. Для Ирены и Петера это было время, когда они познакомились: враги народа, “полячка” и “германец”, узники ГУЛАГа, отделенные от своих родных сторон тысячами километров.

И вот тогда к ним пришла нежданная, прекрасная, полная улыбок и давно забытых слов, нежная и немного неловкая miłość, eine Liebe, любовь. Петер с риском получить суровое наказание выскальзывал из зоны, чтобы далеко на сопках нарвать для Ирены редких цветов. Она, в свою очередь, на общей барачной кухне старалась приготовить ему что-нибудь особенное, например такое лакомство, как поджаренные кусочки настоящего белого хлеба с сахаром.

Зато на их свадьбе было много... лосося и красной икры (до сих пор на магаданских рынках эти деликатесы, наверное, самые дешевые на свете – особенно осенью, когда рыба входит в реки на нерест). Молодожены получили право занять в бараке отдельную комнату. Этой “комнатой” был кусочек большого общего помещения со сколоченной из досок кроватью, отгороженный от любопытных взглядов двумя висящими на веревках одеялами.

– Когда родилась дочка, нам выделили в бараке отдельную комнатку – правда, без окна, – Ирена с улыбкой рассказывает о счастье троих людей на шести квадратных метрах. И о том, как потом Петер (разумеется, получив все необходимые разрешения) собственноручно построил для своей семьи небольшой деревянный домик. Они переехали туда, когда на свет появился сын, а Петер и Ирена получили паспорта. Ирена начала работать в санатории, а Петер стал профессиональным строителем.

Но уехать в родные места они по-прежнему не могли. Ирена узнала, что ее мать, брат и три сестры репатриировались и живут в деревне под Валбжихом. Когда в 1964 г. мать прислала ей приглашение в Польшу, Ирену вызвали в КГБ.

– Они сказали, что разрешат мне навестить семью, но потребовали, чтобы я запомнила, кто из моих близких и знакомых в Польше высказывает антисоветские взгляды. Они грозились, что если после возвращения я стану рассказывать, что видела в Польше, как люди там живут, то больше Польши мне не видать.

Когда после многих дней пути, проехав почти десять тысяч километров, Ирена оказалась среди своих, на долгожданной родине, она не хотела возвращаться на другой конец мира – того иного мира, где ее ждал лишенный права выезда Петер с детьми. Много часов проплакала она вместе с мамой. С самого начала было ясно, что она вернется, и вовсе не потому, что так велела советская власть, а ради него и детей. И она вернулась. Тогда-то она тайком привезла с собой Остробрамскую Мадонну. А когда наконец добралась до Магадана, оказалось, что их домик снесли бульдозеры, так как там, где он стоял, власти решили построить какой-то завод, очередной памятник социализма.

Следующие несколько лет они провели в самой советской из советских квартир – в коммуналке. Потом им дали двухкомнатную квартиру в блочном доме с настоящей ванной. Между тем дети росли, а годы в Магадане летели один за другим. Где-то там, на западе их огромной страны, кончалась эпоха застоя, потом началась и кончилась перестройка, пришла демократия, а Магадан, город-символ на берегу бухты Нагаева, практически не менялся.

Сегодня у детей Эппов свои семьи. Они давно живут отдельно от родителей, но тоскуют по иной жизни. Сын и дочь уже побывали в Польше. Теперь они собираются поехать в Германию – как они говорят, на свою вторую прародину. Когда-нибудь они хотели бы уехать из Магадана навсегда.

– Я знаю, что куда ни поедешь – всё лучше, чем здесь. Но такие, как мы, не могут позволить себе уехать. Может, наши дети... Чтобы покрыть стоимость переезда, нам пришлось бы всё продать, да еще и залезть в долги. Правда, у меня там есть родные, но кому нужны два больных пенсионера без копейки денег и без крыши над головой? В Германию нас тоже не тянет. Петер никогда там не был...

Взгляд Ирены останавливается на лице мужа, а на ее губах блуждает едва уловимая улыбка:

– Понимаете, мы прожили здесь почти всю свою жизнь. Обыкновенно, как все. Может, только одно отличало нас от других: за эти несколько десятков лет мы ни разу не поссорились, а он никогда не повысил на меня голос. Наверное, здесь нас и похоронят. Рядом.

ДО ЧЕГО ЖЕ МЕТКОЕ НАЗВАНИЕ!

Два важных журнала издавала в середине XX века польская эмиграция: лондонский еженедельник “Вядомости” Мечислава Грыдзевского и парижский ежемесячник “Культура” Ежи Гедройца. Оба эти названия вводят в заблуждение:

“Вядомостям” лучше подошло бы то название, под которым этот же редактор до войны издавал свой еженедельник в Варшаве, — “Вядомости литерацке”, — а в “Культуре” всегда больше говорилось о политике, чем о самой культуре. Оба журнала представляли собой лакомый кусок, либо, если выразиться чуть элегантнее, вызов для появлявшихся в эмиграции опытных и оборотистых редакторов. Так, уже в августе 1943 г. в Лондоне хлопотал по поводу приобретения “Вядомостей” за сумму 3 тыс. фунтов Юзеф Хиероним Ретингер — он выступал от имени польского правительства, однако, зная основанный им “Месенчник литерацкий и артистичный” (“Литературный и художественный ежемесячник”, 1911), можно было не сомневаться, что если бы эта сделка состоялась, Ретингер создал бы журнал с высоким литературным уровнем и широкими европейскими горизонтами. Когда на рубеже 50–60 х годов большой поэт Александр Ват (в 1929–1931 гг. редактор “Месенчника литерацкого”) оказался на Западе и искал себе место в эмигрантском пейзаже, напрашивалась мысль, что он должен стать редактором какого-нибудь независимого журнала литературного профиля. В его переписке сохранились проекты такого журнала или альманаха, который бы преодолевал разделение на две литературы — эмигрантскую и отечественную. “Единственный критерий — это качество мысли, поэзии или стиля”, — писал Ват 8 февраля 1966 г. Милошу. К сожалению, и из этих планов ничего не вышло.

Ситуация изменилась в начале 1980 х. На Западе оказалась группа новых польских эмигрантов, интеллигентов младшего поколения. Среди них была личность с редакторским опытом и запалом — секретарь редакции независимого ежеквартального журнала “Запис”, член редколлегии подпольного журнала “Res Publica” Барбара Торунчик. В 1981 г. в разговорах с Ежи Гедройцем она напрямую затронула вопрос о продолжении “Культуры” людьми молодыми и очень молодыми. О самой

возможности такого сотрудничества редактор высказался оптимистически, вместе с тем откровенно назвав свою ахиллесову пяту — невосприимчивость к поэзии, особенно новейшей.

А это и была сильная сторона новых эмигрантов. В состав редколлегии с самого начала вошел Станислав Баранчак, затем прибавились Иосиф Бродский, Петр Краль и Томас Венцлова, позднее Адам Загаевский. Пока что, однако, 13 августа 1982 г., только Барбара Торунчик подписала под письмом-меморандумом Ежи Гедройцу, где излагался родившийся “в узком кругу нашего поколения” проект издания под его покровительством регулярного литературного ежеквартальника “Зешиты литерацке” (“Литературные тетради”).

Журнал — до чего же его название, в отличие от “Вядомостей” или “Культуры”, было метким и точно отвечало содержанию — задумывался как дополнение и расширение спектра публикаций издательства “Литературный институт”, где, кроме ежемесячника “Культура” и книжной серии “Библиотека „Культуры””, уже выходили, тоже ежеквартально, “Зешиты хисторичне” (“Исторические тетради”).

Вышеупомянутое письмо, опубликованное недавно в факсимильном виде как одно из приложений к книге Барбары Торунчик “Разговоры в Мезон-Лаффите в 1981 году” (см. отрывок из книги в “Новой Польше”, 2007, №3. — Ред.), — первоклассный источник для историков польской периодики и, шире, всей культурной жизни. Читать его надо с учетом обстоятельств его возникновения — не только как манифест, но и как прагматический текст, который должен был достичь некой определенной цели, а именно: добиться покровительства Гедройца над новым издательским предприятием, а следовательно, и его поддержки — организационной, технической и финансовой.

Профиль планируемого издания был охарактеризован как “*stricte* литературный”. Авторы замысла нового журнала хотели заниматься “теорией литературы, литературной критикой, помещать рецензии на публикации эмигрантских и отечественных издательств”. Предусматривался “большой отдел переводов как из восточноевропейской, так и из западной литературы”. Они собирались также интересоваться “интеллектуально-художественными событиями на Западе”, намечали “обзор наиболее интересных материалов мировой прессы”. С чрезмерной скромностью — быть может, отчасти вызванной тактическими соображениями — создатели

журнала отрешивались от политики и отстранялись в тень зонтика “Культуры”: “Наше издание задумано скорее как скромное и маленькое приложение к Вашей издательской деятельности”, — а также декларировали, что новый орган хочет “заниматься скорее тем, от чего „Культура” сознательно отказалась”.

Показателем своеобразия этого поколения и значения для него поэзии может служить одно предложение из письма Барбары Торунчик: “Так уж случайно вышло, что в результате [13] декабря [1981] на Западе остались некоторые самые видные представители интеллектуальных и политических кругов моего поколения” — отчетливый (даже если и безотчетный) и строптивый намек на начало “Вопля” Аллена Гинзберга^[1].

Гедройц предложения не принял, однако его отказ не расхолодил группу, задумавшую новое издание, и это было очень хорошо. “Зешиты литерацке” отважились существовать самостоятельно и обрели собственный облик, особый стиль, полную независимость от чьих-либо пристрастий. Из негативного замысла — заполнения лакун, оставленных изданиями Ежи Гедройца, — журнал стал изданием позитивным, приобрел свой характер.

Первым следствием такого положения вещей стала открытость к Польше. Поначалу — в смысле сотрудников (первые тексты, подписанные фамилиями людей, которые жили в Польше, появились уже во втором номере: это были литературовед и критик Ян Прокоп, поэт и эссеист Ежи Загурский, а также автор этих строк). Эмигрантской оставалась редакция, в состав которой наряду с основательницей журнала и упоминавшимися поэтами входили еще Эва Беньковская, художник, Эва Курылюк и Войцех Карпинский. Открытость к Польше означала также — по мере изменений политического положения — выход на отечественный рынок (с 1990 го.) и, наконец, переезд редакции из Парижа в Варшаву. Секретарем редакции стал публицист и эссеист Марек Заганчик.

Я упомянул блестящий журнал Ретингера, открытый к Европе. Сам редактор стажировался во Флоренции, а в качестве постоянного сотрудника привлек писавшего по-французски итальянского эссеиста Риччото Канудо (автора понятия “седьмое искусство” применительно к кино). В случае журнала Барбары Торунчик мы имеем дело с Миланом как с третьим — наряду с Парижем и Варшавой — городом, который какое-то время появлялся в выходных данных “Зешитов”, и с участием — как автора и члена редакции — итальянского эссеиста

Роберто Сальвадори, пишущего “портреты” городов, ищущего их душу в архитектуре и истории.

Портреты городов стали, впрочем, фирменным блюдом “Зешитов литерацких” — в виде специальных номеров, посвященных особо важным для культуры городам. Наряду с Венецией, Триестом и Прагой такого номера дождался и Петербург (№83, 2003). От журнала, где членом редколлегии был Иосиф Бродский и по-прежнему остается Томас Венцлова, мы могли бы рассчитывать просто на перевод того, что определяют в русской культуре как “петербургский текст”, — между тем мы получили оригинальный, польско-русский слоеный пирог петербургских “выписок”, украшенный Казановой и маркизом де Кюстином.

Лондонские “Вядомости” пережили Мечислава Грыдзевского, но все-таки в начале 80-х годов перестали выходить. Парижская “Культура” прекратила свое существование вместе со смертью Ежи Гедройца (хотя “Исторические тетради” продолжают). Барбаре Торунчик удалось спасти свой журнал, перенеся его на родину, где у него больше читателей, и сохранив при этом верность тем идеалам, которые исповедовались изначально. В конце 2007 г. выходит в свет уже сотый номер, завершающий первые двадцать пять лет существования этого действительно регулярного литературного ежеквартальника.

У “Зешитов литерацких” есть свои любимые авторы. Наряду с Юзефом Чапским, Збигневом Хербертом, Чеславом Милошем и Ежи Стемповским (а из русских — Ахматовой, Цветаевой, Набоковым) к их числу принадлежит и Александер Ват. Посвященный ему монографический номер (№ 99 [см. обзор периодики Лешека Шаруги в “НП”, 2007, №10. — Ред.]), самый обширный в истории журнала, не вместил все собранные материалы, и какая-то их часть допечатывается теперь в сотом, юбилейном номере. Есть нечто символическое в этом возвращении к предшественнику, который тоже делал ставку на “качество мысли, поэзии, стиля”.

-
1. Эта знаменитая, почти эпическая поэма (1956) видного американского поэта начинается словами “Я видел лучшие умы моего поколения...”. — Пер.

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

• Начало зимы прошло под знаком Станислава Выспянского. 28 ноября исполнилось 100 лет со дня смерти этого великого драматурга и художника периода “Молодой Польши”. По этому случаю в краковском Национальном музее открылась необычная выставка, посвященная творчеству Выспянского, на которой удалось создать сказочный, нереальный мир, задуманный так, чтобы ввести зрителя (особенно молодого) в атмосферу произведений автора “Свадьбы”. Как написала “Жечпосполита”, это был самый дорогой проект со времени выставки импрессионистов: надо было перестроить экспозиционные залы, положить новый пол, поставить специальные стены, сделать переходы и коридоры. Экспозиция разделена на семь помещений, по которым бродят в полутьме впускаемые небольшими группами посетители. Их встречают два характерных символа, знакомых нам по “Свадьбе”: роза и хóхол [соломенный чехол на куст], а также две аллегии “Полонии” авторства Выспянского и Яна Матейко, напоминающие о тогдашнем политическом положении порабощенной страны. Со стен смотрят орлы трех государств-захватчиков: России, Пруссии и Австрии. Затем появляется бронувицкая поющая хата [из драмы “Свадьба”]. Призраки, духи, соломенные хóхлы, быстро, как солома, вспыхивающий и так же быстро гаснущий боевой пыл поляков... Благодаря компьютерной анимации лица с саркофагов и рельефов Вавельского кафедрального собора то приближаются, то отдаляются. Прославленные, хотя и отвергнутые проекты витражей Выспянского (например, король Ян Казимир, изображенный мрачным мертвецом, извлеченным из гроба) показаны не в оригинале, а в виде больших подсвеченных репродукций. В конце авторы выставки поместили зеркальную клетку с прекрасным гербарием – рисунками и картинами Выспянского, ботаника-любителя, который коллекционировал образцы флоры, чтобы потом использовать их в своих композициях. Выставка “Огромный театр Станислава Выспянского” открыта в Кракове до 2 марта.

• Мощным аккордом завершил год Выспянского и телеканал ТВП “Культура”. В течение недели он показывал лучшие театральные постановки и экранизации произведений драматурга. “Помимо знаменитого фильма Вайды мы предложим вашему вниманию „Свадьбу” Войцеха

Смажовского, а также телепремьеру спектакля Петра Цепляка „А мы эвона какие”, – говорил журналист ТВП “Культура” Войцех Майхерек. – Вы сможете увидеть, какой огромной вдохновляющей силой обладает самая известная драма Выспянского”.

Телеканал показал также два спектакля Ежи Гжегожевского: “Судей” – премьеру телевизионного варианта спектакля, который впервые был поставлен десять лет назад в Национальном театре, и “La Bohème”, постановку театра “Студио”. Не были забыты и постановки Конрада Свинарского: знаменитое “Освобождение”, записанное для телевидения в 1979 г. в краковском Старом театре и снятую тридцать лет назад экранизацию “Судей”. Разумеется, не могло обойтись без шедевров Анджея Вайды. Кроме фильма “Свадьба” была показана также “Ноябрьская ночь” – краковский театральный спектакль 1974 г., перенесенный в варшавский парк Лазенки.

• Более 60 лет тому назад ролью Кубы в “Свадьбе” Выспянского, поставленной краковским театром им. Юлиуша Словацкого, дебютировал выдающийся польский актер Анджей Лапицкий. Тринадцать лет назад Лапицкий простился со сценой. Свою последнюю роль – Радосла в поставленных им же “Девичьих обетах” Александра Фредро – он сыграл в феврале 1995 г. на малой сцене Театра повсехного. Его провожали бурные аплодисменты варшавской публики. Однако 83-летний актер позволил уговорить себя вернуться в театр. Режиссер Ян Энглерт предложил ему роль графа-меломана в “Иванове” А.П.Чехова. Лапицкий принял это предложение. “Думаю, что решающее значение имели несколько десятков лет совместной работы – это во-первых, – сказал Энглерт критику Янушу Ковальчику. – Во-вторых – взаимное доверие. В-третьих – качество текста. А в-четвертых, смею утверждать, само место. Мне кажется, что пан Анджей соскучился по сцене, а я интуитивно обратился к нему как раз в этот момент”. Премьера состоится в апреле в Национальном театре.

• Изабелла Цивинская поставила в варшавском Театре повсехном “Салемских ведьм” по драме Артура Миллера “Суровое испытание”. Почему она обратилась именно к этому произведению, написанному в 1952 г. в ответ на маккартизм и антикоммунистическую истерию в США? Об этом Цивинская рассказала в беседе с Яцеком Цесляком. Журналист спросил, не нарушила ли ее постановочных планов смена политической ситуации в Польше после выборов.

“Я – не Ян Клята, который делает сиюминутный политический театр, – ответила постановщица. – Спектакль не перестанет

быть актуальным из-за смены правительства, так как я не переистолковывала драму Артура Миллера и не пыталась изобразить [бывшего] министра [юстиции] Зёбро. Я рассматриваю этот спектакль как предостережение, особенно для людей власти, для тех, кто начинает верить в единственно верную истину. Я стараюсь напомнить, как неизменна человеческая природа и как глубоко сидит в нас чудовище, бес. Это бес фундаментализма. Каждая идейность, доведенная до крайности, начинает руководствоваться принципом „цель оправдывает средства””.

Цивинская, которая долгие годы была директором многих польских театров, а затем министром культуры в кабинете Тадеуша Мазовецкого, значительную часть своей профессиональной жизни посвятила Театру телевидения. В последнее время ее туда не пускали, поэтому она с благодарностью приняла предложение Яна Бухвальда, нового директора Повшехного.

• Сенсация в варшавской “Захенте”. В конце ноября там открылась ретроспективная выставка живописи Вильгельма Сасналя. Впервые его творчество представлено в Польше в таком объеме. В мире Сасналь широко известен, а вот польские любители искусства знают его несколько хуже. Художник, родившийся в Тарнове в 1972 г., живущий и работающий в Кракове, выставляется в самых видных художественных галереях мира – в частности, в цюрихском и базельском “Кунстхалле”, в амстердамском “Стеделийке” (Городском музее), в лондонской галерее “Тейт модерн”, в парижском Центре Помпиду, в нью-йоркском Музее современного искусства. Он – лауреат премии “Винцент”, одной из главных художественных наград Европы, а издающийся в Милане журнал “Flash Art” признал его самым многообещающим современным живописцем.

Сасналь пользуется всё большим признанием на художественном рынке. Как пишет “Дзенник”, “его работы не только занимают всё более высокие места в рейтингах критиков, но и продаются по всё более высоким ценам. В мае 2007 г. малоизвестная картина „Самолеты”, написанная в 1999 г., была продана на аукционе нью-йоркского дома „Кристи” почти за 400 тыс. долларов, установив тем самым ценовой рекорд за современную польскую масляную живопись”.

Почему выставка явно успешного художника называется “Годы борьбы”? Одни усматривают в этом провокацию, другие утверждают, что Сасналь годами боролся с “красивостью”

своего искусства. И победил. Выставка в “Захенте” продлится до 2 марта.

- 10 декабря в огромной, вмещающей две тысячи человек площадью базилике Збигнев Прейснер представил свою музыку из альбома “Silene, Night & Dreams”, мировая премьера которого состоялась на афинском Акрополе. Несколько дней раньше польский композитор дирижировал Лондонским симфоническим оркестром в культурном центре “Барбикан”.

“Выступление на Акрополе было невероятным переживанием, но и выступить с Лондонским симфоническим оркестром доводится далеко не каждый день, – сказал Прейснер в одном из интервью. – Реакция публики была почти такая же, как в Афинах. Во время исполнения первой части с музыкой „Silence, Night & Dreams” стояла тишина, а после второй, с музыкой к кинофильмам – энтузиазм. Мы с Терезой Салгейру полтора часа подписывали диски. Директор „Барбикана” сказал, что это рекорд зала. На 20 марта запланирован концерт в парижском Театре Елисейских Полей”.

- В Польше, Италии, Франции и Германии идут съемки фильма “Свидетельство” по одноименной книге многолетнего секретаря Иоанна Павла II кардинала Станислава Дзивиша. Кроме самого автора книги, митрополита Краковского, текст за кадром будет читать известный английский актер Майкл Йорк. Сценарий написал сам кардинал Дзивиш совместно с итальянским ватиканистом и писателем Джан Франко Свидеркосчи и режиссером Павлом Питерой. Польской съемочной группе удалось получить разрешение Ватикана на съемки с актерами за Бронзовыми воротами. Это беспрецедентный случай. Ватикан еще никогда не соглашался ни на какие съемки с участием актеров. Премьера фильма запланирована на осень.

- Уже второй раз присуждена Центральноевропейская литературная премия “Ангелус”, учрежденная городом Вроцлавом. В этом году ее лауреатом стал Мартин Поллак (1944 г.р.) – австрийский писатель, журналист и переводчик польской литературы. Жюри отметило его репортерскую книгу “Смерть в бункере. Рассказ о моем отце” – волнующую историю поисков правды о судьбе нацистского военного преступника, отца автора. “Эта книга привлекает внимание читателя, – писал о ней итальянский прозаик и эссеист Клаудио Магрис, – и в то же время она очень взвешенная и даже холодно-научная. Однако прежде всего она проникнута глубоким гуманизмом и преодоленной болью. Это литературное свидетельство

зрелости, которая не боится правды, но принимает ее – хотя с большим трудом и детским чувством стыда”.

Произведение Мартина Поллака премировало жюри в следующем составе: Наталья Горбаневская (председатель), Станислав Бересь, Кшиштоф Маслонь, Рышард Крыницкий, Юлиан Кронхаузер, Томаш Любенский, Анджей Завада и Петр Кемпинский. Премию – 150 тыс. злотых и статуэтку Ангелуса Силезиуса – вручил писателю министр культуры в кабинете Дональда Туска Богдан Здроевский.

“Особой честью для меня было то, что эту премию я получил именно в Польше”, – сказал писатель на церемонии вручения во вроцлавском театре “Капитоль”. Поллак давно интересуется польской литературой. Он перевел на немецкий все книги Рышарда Капустинского, переводил также Анджея Бобковского, Вильгельма Дихтера и Мариуша Вилька.

Первым лауреатом “Ангелуса” – самой крупной денежной премии на польском издательском рынке – был украинский писатель Юрий Андрухович, автор романа “Двенадцать кругов”. Обе награжденные книги вышли в издательстве “Чарне” (“Черное”). Издательство, расположенное в маленьком, некогда лемковском селении Воловец в Низких Бескидах и принадлежащее Монике Шнайдерман, жене известного прозаика Анджея Стасюка, с самого начала своего существования неумолимо популяризирует литературу Центральной Европы.

• Стали известны и имена лауреатов Литературной премии города Гдыни, присуждаемой за особые достижения ныне здравствующим польским авторам (кстати сказать, эта премия тоже присуждается второй раз). Победителям (в трех категориях) президент (мэр) Гдыни Войцех Щурек вручил чеки на 50 тыс. злотых и памятные статуэтки – “Литературные кубики”.

В категории поэзии премию получил Войцех Бонович за сборник стихов “Открытое море” (изд. “Бюро литерацке”), лучшим эссе был признан “Проект торговли кабардинскими лошадьми” (изд. “Свят литерацкий”) Кшиштофа Сроды, а в категории прозы победил Веслав Мысливский, чья книга “Трактат о лущении фасоли” (изд. “Знак”), удостоенная в этом году премии “Нике”, пользуется огромным успехом. “Премии получает книга мудрая, зрелая, книга-вызов, дающая ощущение спокойствия и гармонии. Это проза, но в то же время в нее входят маленькие поэмы. Мы решили наградить книгу ясную, прозрачную, написанную теплым, чувственным

языком и рассказывающую об ужасных переживаниях и примирении с миром”, – обосновывал решение жюри проф. Павел Спевак.

Впервые присужденную специальную “Отдельную премию” получила Магдалена Тулли за цикл, увенчанный романом “Изъян” (изд. W.A.V.).

Год назад, когда премия вручалась в первый раз, ее удостоились “Любево” Михала Витковского (на русский язык переведено под названием “Любиево”), сборник стихотворений Эугениуша Ткачишина-Дыцкого “История польских семей” (см. “Новую Польшу”, 2006, №1) и сборник эссе Марека Залеского о творчестве Чеслава Милоша “Вместо”.

- Лауреатом премии журнала “Нове ксьёнжки” (“Новые книги”) стала вроцлавская поэтесса Уршуля Кóзел, награжденная за сборник стихов “Пролётот” (“Выдавництво литерацке”). По мнению издательства, последний прекрасный лирический “курбан” Уршули Козел – это “прощание с миром, возвращение памятью к далеким делам, обращение к мастерам, привыкание к смерти”. (Статью Лешека Шаруги о творчестве Уршулы Козел и ее стихи – см. “НП”, 2007, №11)

- Чтобы закрыть тему лавров и почестей, упомяну еще только награды, которых французское правительство удостоило трех полек – деятелей культуры. За вклад в развитие польско-французских отношений поэтесса и эссеист Юлия Хартвиг награждена орденом Почетного легиона, а профессор философии Барбара Скарга и главный редактор издательства W.A.V. Беата Стасинская – Национальным орденом “За заслуги”.

- В ноябре в Балтийском центре культуры в Гданьске прошел очередной этап проекта “Писатель и его переводчики”. В авторских встречах и панельных дискуссиях приняли участие, в частности, поэты Юлия Хартвиг, Наталья Горбаневская, Андрей Хаданович (Белоруссия) и Рышард Крыницкий, а также целый ряд специалистов-переводчиков: Ежи Ярневич – переводчик с английского, член редколлегии журнала “Литература на свете” и поэт, германист Анджей Копацкий, переводчик немецкой, английской и русской поэзии Анджей Поморский и переводящая шведскую литературу Анна Топчевская. Лекцию “Нобелевская премия как неизвестная провинция” прочел член Шведской академии Пер Вестберг.

Русская литература занимала на гданьских встречах видное место. Был представлен недавно изданный обширный сборник поэзии, прозы и драматургии Анны Ахматовой “Путем всея

земли” (изд. OPEN) в переводе и с комментариями Адама Поморского. В дискуссии над книгой, которую вел Антоний Павляк, участвовали Наталья Горбаневская и Адам Поморский. Они приняли участие и в панельной дискуссии “Переводчик и его авторы. Мои увлечения и переводческие выборы” и в авторском вечере “Большое чтение”, который вела Ирина Киселева, а также встретились со студентами Гданьского университета.

Проект “Писатель и его переводчики” был приурочен к празднованию 15-летия Балтийского центра культуры.

- На прошедшую в Варшаве XIV Всепольскую ярмарку академической книги “Атена-2007” приехали директора национальных библиотек из стран Центральной и Восточной Европы. Панельная дискуссия о положении библиотек на фоне мировой тенденции к использованию новых технологий в обслуживании читателя, которую вел директор варшавской Национальной библиотеки Томаш Маковский, была признана одним из главных событий ярмарки. Россию на ярмарке представляли замдиректора Российской национальной библиотеки в С.-Петербурге Ирина Линден и заведующая издательством РНБ Татьяна Нижник. Следует отметить, что официальным языком встречи был русский, а один из комментариев в печати гласил: “Русский язык сближает”.

- В начале декабря “Газета wyborcza” напечатала интересное интервью с Казимежем Орлосем. В 1973 г. этот прозаик и сценарист первым в Польше опубликовал книгу под своей фамилией в издательстве парижской “Культуры” Ежи Гедройца – роман “Дивная малина” (русский перевод – см. “Континент”, №№12-15), не пропущенный польской цензурой. Тогда он потерял работу, а на печать всех его произведений был наложен запрет. Сегодня ему не чужда общественно-политическая публицистика. На этот раз он оценил правление “Права и справедливости”.

“Я не социолог и не педагог, – сказал Орлось, – но мне кажется, что правление ПиС было опасно прежде всего из-за его отрицательных последствий для общества. Нельзя было поднимать на вершины власти и назначать вице-премьерами таких людей, как Анджей Леппер и Роман Гертых. Ведь это свидетельствовало о том, что крикун и демагог, человек, постоянно находящийся не в ладах с законом, а также другой человек, исповедующий антисемитские взгляды, могут занимать в Польше самые высокие посты. А директор радиостанции „Мария”, уже явно пропагандирующей антисемитизм (кстати сказать, радиостанции с самого начала

антиевропейской, антиевросоюзной и антиамериканской) выдвигался на роль какого-то гуру „Права и справедливости””. Напомним, что полтора года назад Казимеж Орлось, племянник писателя Юзефа Мацкевича (1902-1985), вышел из жюри премии им. Юзефа Мацкевича в знак протеста против антисемитских выпадов одного из членов жюри.

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Одной из трудностей, с которыми пытается справиться современная Европа, – это вопрос о памяти и способах ее документировать: в искусстве, исторических науках, литературе. Многолетние споры о том, каким быть памятнику Катастрофы в Берлине (нашедшие свое отражение и в поэзии, в частности, в стихах Ежи Фицовского), или дискуссия, точнее полемика, между немцами и поляками вокруг создания в Берлине Центра изгнанных и, наконец, начинающаяся сейчас дискуссия вокруг предложения нового польского премьер-министра Дональда Туска создать в Гданьске, где начались военные действия, музей II Мировой войны (где, вероятно, найдет свое место и известный французский лозунг “Не стоит умирать за Данциг”) – всё это доказывает, что с памятью и ее проявлениями у нас серьезные затруднения. Поэтому не удивляет, что эта тема постоянно возвращается и выглядит одной из важнейших проблем, вокруг которых организуется – на разных уровнях: от дискуссий ученых до выступлений публицистов – дискурс о самосознании Европы.

Этот вопрос поднимает в своем последнем номере ольштынский ежеквартальный журнал “Боруссия” (№47, 2007), публикуя блок материалов польских и немецких авторов, озаглавленный “Разделенная память Европы”. Главный редактор журнала Роберт Траба пишет в статье “Полифония памяти”:

“Общепринято считать, что память разделяет. Отсюда – сильная сегодня в мире тенденция к забвению как способу решения проблем. Так говорят люди, которые считают, что иначе ничего хорошего с Центральной и Восточной Европой не сделаешь. Европа, континент, который в прошлом веке пережил самые крупные преступления геноцида, как будто совершенно не управляется с собственной памятью. Поэтому появляются различные протезы и попытки побега, о которых я упомянул. Чаще всего побег совершают в места известные, то есть закрепленные в национальных представлениях.

Между тем память следует подвергнуть детоксикации. Один мой друг (...) рецепт „детоксикации” нашел на Балканах. Принято утверждать, что причиной трагедии в бывшей

Югославии была память, постоянное напоминание о травмах прошлого. А может быть, все-таки больше – отрежиссированное забвение? Целые десятилетия память представляли в искаженном виде, пытались ее изглаживать с помощью навязанной идеологии братства, сталкивали ее в сферу темных табу. Если бы в те годы попытались померяться памятью, дать ей выход, пусть даже она внесет рознь... Может быть, тогда не было бы такого грубого ее возврата, разрушительного в своей долго подавлявшейся силе? К сожалению, такое искусственное табуизирование, а затем конъюнктурное детабуизирование касается и демократических обществ. Нужно искать „хорошую“, но забытую память. Это особенно относится к коллективной памяти соседствующих государств и народов, на территориях которых веками создавались накладывающиеся друг на друга гибридные культуры. При этом полифония памяти не означает, что надо предать забвению „дурные“ события. „Вечной памяти“ не существует. Не существует и „разделенной памяти Европы“, ибо это означало бы, что когда-то была некая „общая память“, которая потом распалась. Память сознательно конструируют различные формы политической культуры: историческая политика, мемориализация, музеефикация и т.п. И, парадоксально, но эта констатация позитивна, ибо порождает надежду, что полифония памяти, сегодня занимающая лишь отдельные ниши, когда-то сумеет стать господствующим в Европе повествованием. На сегодняшний день я вижу иную задачу, нежели поиски общеевропейских мест памяти: необходимость научиться терпимости к памяти „других“”.

Своеобразным “испытанием памяти” у поляков стало все еще не затухающее дело о преступлении, совершенном в Едвабне [массовое убийство, включая сожжение живьем, местных евреев их вчерашними соседями-поляками летом 1941], – как для русских “катынское дело”. Но все эти испытания памяти по-прежнему используются инструментально и на уровне публицистической полемики становятся мучительной попыткой поддержать те самые “закрепленные национальные представления”, о которых упоминает Траба. Становятся они и попыткой – как то доказывает уже долго продолжающаяся в Польше дискуссия об “исторической политике” – создавать новые представления, по сути дела служащие не столько истории, сколько политике. Неслучайно тот же Траба пишет в своей последней книге “История – пространство диалога” (Варшава, 2006), что историческая политика “строится в противостоянии критическому патриотизму”, т.е. патриотизму, отвергающему стереотипы и повелевающему

неустанно пересматривать собственные позиции и представления о себе самих.

Игра с памятью, корыстная или бескорыстная, идет без окончательно установленных правил, погружена в пространство не до конца распознаваемых эмоций. Это показано в интересной большой статье Лукаша Нечо “Операция „Висла” шестьдесят лет спустя, или Воспоминания из настоящего”, напечатанная в том же номере “Боруссии”. Автор, украинец, родившийся в семье, переселенной в ходе операции “Висла”, которую коммунистические власти проводили в послевоенный период с целью разрушить украинское общество на восточном пограничье Польши, пишет:

“Любая попытка сведения счетов с прошлым всегда нелегка и несправедлива. И все-таки, несмотря ни на что, мы ищем истину. Ищем виновников. Ищем причины. Особые размышления у меня вызывает вопрос: что тут есть истина? Никто здравомыслящий не скажет о литературных произведениях, написанных под влиянием эмоций, что в них достоверно и правдиво отражены представленные события. Однако сухих фактов и цифр как будто недостаточно. Они не удовлетворяют жажду справедливости, а может быть, мести. Не передают того, что лично переживали люди, как быстро менялась их судьба, как событие душевное может разрушить человека и психологически изменить его, указывая ему новые ценности и авторитеты, меняя смысл жизни, а может, даже отнимая его”.

Особый случай неустанного пересмотра памяти – вопрос отношения к Западу. Эта тема доминирует в интервью Юстины Соболевской с Михалом Гловинским (“Дзенник”, 2007, №283), озаглавленном “Из Катастрофы не выходишь”. Беседа касается прежде всего недавно опубликованных в Польше книг “Канувшие и спасенные” Примо Леви и “По ту сторону преступления и наказания” Жана Амери. Гловинский, принадлежащий к спасенным, подчеркивает:

“Катастрофу можно было пережить, но из Катастрофы не выходишь. Независимо от того, ребенком был ты или взрослым. Пережитое таится в человеке, и освободиться от него невозможно. Оно возвращается в снах, в страхе перед замкнутым помещением. Это может приводить к разным типам поведения. Я встречал людей, которые создавали себе вымышленные биографии, чтобы убрать это время из своей жизни. Другие должны были рассказывать. Третьи продолжали жить, канув в этот опыт. Это невозможно выдержать. Тогда

единственной формой освобождения действительно остается смерть и самоубийство”.

Далее, комментируя состояние памяти о Катастрофе еврейского народа, Гловинский говорит:

“Знания о немецких лагерях безмерно расширились, но в то же время предмет этих знаний становится всё труднее представимым. В одной израильской школе на встрече с человеком, пережившим Катастрофу, девочка-подросток спросила: „А как часто вам меняли постельное белье?” Она представляла себе Аушвиц как жуткую, но все-таки гостиницу. Это не должно стать предметом огорчений или критики, ибо свидетельствует о том, что мир нормализовался. Человек, живущий в нормальных условиях, не в состоянии себе этого представить. Когда кончилась война, мне едва исполнилось десять лет, но свое я успел пережить: гетто, жизнь в укрытии. Я не рассказывал об этом. Пока не описал. Но помню, что, когда мне случалось вспоминать об этом среди моих ровесников, у которых не было подобного опыта, они мало что понимали. Не потому, что не могли себе представить, а потому, что об этом почти не говорили. И не только из-за большой или малой политики в Польше или других странах. Это был вопрос душевной гигиены. Спасенные нуждались в молчании. Если ты хотел снова войти в повседневную жизнь, в новую жизнь, нельзя было думать о прошлом”.

С другой стороны, память об этом прошлом в ПНР подвергалась постоянным манипуляциям:

“Об Аушвице говорилось – но в рамках пропаганды. Кульминация лжи о временах оккупации наступила в мартовский [1968] период. Вы знаете, что мартовские события начались с наступления на реальные знания о немецких лагерях? Посмотрите на энциклопедию – там сзади на полке. В статье „концентрационные лагеря” в согласии с истиной написано, что существовали трудовые лагеря и лагеря уничтожения. В лагеря уничтожения попадали в основном евреи. Эта констатация фактов была признана сионистской пропагандой. (...) Во времена ПНР почти не издавалось книг о Катастрофе. Труд Владислава Бартошевского и Зофьи Левиной „Тот из моей отчизны” [о поляках, спасавших евреев, первое издание – 1969] с трудом прошел через цензуру. Режим не любил такого рода книг. Если что-то появлялось, то лишь в научных журналах. Если теперь выходит так много книг – это значит, что людей эта тема чрезвычайно интересует. И это самое главное”.

Произведенная здесь Гловинским конфронтация памяти с представлениями тех, кто не располагает подобным опытом, кажется мне самым важным в этом интервью. Это относится ко всякой памяти, не только к той, которую Траба определяет как “дурную”, – возбудить сочувствие в диалоге о прошлом, вдобавок о таком, которое нам совершенно “чуждо”, необычайно трудно. Но трудно и воспринимать прошлое сквозь палимпсест взаимопроникающих мемориальных повествований. Так происходит хотя бы при разговоре о таких городах, как Вильнюс (польское Вильно) и Львов, где друг на друга накладываются рассказы на разных языках и в разнообразных национальных контекстах.

Это хорошо показано в интервью Петра Косевского с вроцлавским историком Адольфом Юзвенко в люблинском ежеквартальном журнале “Кресы” (2007, №1–2). В интервью, озаглавленном “Нельзя прятать голову в песок”, Юзвенко рассказывает о парадоксах, с которыми сталкивается, когда бывает во Львове:

“Львов – нелегкая тема в польско-украинском диалоге. (...) Когда я приезжаю во Львов и нахожу время погулять по городу, прислушиваюсь к гидам, водящим группы туристов, или заглядываю в путеводители по Львову, изданные по-украински, то с печалью констатирую, что в представляемой там истории Львова нет ни Польши, ни поляков. Чаще всего это тема табу. Украинским жителям Львова трудно справиться с польско-украинским прошлым. Они обходят его молчанием. На помощь приходит история: Польша утратила независимость в конце XVIII века, Львов отошел к Австрии, и вплоть до 1918 г. польской государственности не было, поэтому говорится об австрийском Львове, а после 1918-го – о польской оккупации. (...) Однажды молодые украинцы водили меня по городу. Во время этой прогулки они в своих рассказах ни разу не употребили слов „поляк”, „Польша”, „польский”. Зато я все время слышал об австрийском Львове. В конце концов мы дошли до костела доминиканцев. Перед ним стоят букинисты с книгами. Я подошел к одному, другому, третьему лотку. На каждом были почти исключительно польские книги, издания с XIX века по 1939 год. Я спросил их: „На каком языке говорили друг с другом австрийцы? Насколько я знаю, по-немецки? А если да, то откуда взялись польские книги, выходившие в австрийском Львове? Почему тут нет книг по-немецки?” Они только покраснели. „Следуя вашему ходу мыслей, – прибавил я, – не только Львов не был польским городом: Краков был австрийским, Варшава – русская, Лодзь – русская, Познань и Гданьск – немецкие. Более того, принимая такую точку зрения,

вам придется согласиться, что в прошлом не было украинских городов””.

Ну, если бы Адольф Юзвенко хорошенько посмотрел, то на лотках букинистов или в букинистических магазинах – в конце концов, в библиотеках – нашел бы книги, выходившие во Львове не только на польском языке, но и на немецком, русском, украинском, идише. Это место с историей, сплетенной из многих витков, и памятью, вплетенной во много языков. Помню, как меня поразило, что преподававший в конце XIX века во Львовском университете литературу польский поэт Ян Каспрович читал свои лекции по-немецки. Но помню и какой-то недавний спор, в котором выяснилось, как поразило молодых украинских историков открытие, что во Львове было крупное еврейское меньшинство.

На тему функционирования памяти теоретизировать трудно – ее динамика, видимо, столь же непознаваема, как прошлое, которое эта память по прошествии лет реконструирует. В заключение приведу отрывок из статьи Магдалены Новицкой “Пост-Катынь”, посвященный кинофильму Анджея Вайды “Катынь” (“Одра”, Вроцлав, 2007, №11):

“...хорошее предвестие (...) – минимальное присутствие русских на экране. Персонализирован только сюжет „хорошего большевика” (...) а палачи остаются безымянными. Посыл фильма обладает универсальным аспектом: массовое убийство на любой широте – одинаковое зло. Хотя не следует переоценивать влияние двухчасовой картины на мировосприятие зрителей, на создателях лежит ответственность за их долю в сотворении памяти о тех событиях. „Не история выносится в ранг высказывания, а воспоминание”, – считал Поль Рикёр. Большую часть своих трудов он посвятил феноменологии памяти. Лейтмотивом этой ветви феноменологии должна быть идея „счастливой памяти”, т.е. памяти „удовлетворенной”, „примирившейся”, черпающей радость из самой возможности вспоминать. Счастливая память могла бы стать альтернативой претензиям на воздвижение памятников. На первое место она ставила бы верность прошлому и распознавание вспоминающим самого себя на фоне опыта „вчера и сегодня”. Рикёр верил, что счастливая память может возместить несчастья истории. „Катынь” Вайды хорошо исполняет роль кирпичика в возведение такой памяти, ибо не проецирует зверство определенной идеологии на всё понятие русского тогда и теперь”.

КАК ТУТ ВОПРОШАТЬ О СМЫСЛЕ?

Из книги “Другого конца света не будет”

(беседы с Барбарой Скаргой)

— *Можете ли вы нам сказать, что значит быть философом?*

— Это жизненный выбор.

— *Это не только профессия?*

— Для одних профессия, для других — много больше: этим живешь. Когда я пишу, мысли в голове кружат неустанно, прямо навязчиво. Я стараюсь хоть на минуту от них оторваться, куда-то уехать, походить по лесу или пойти выпить вина с коллегами. Но они все время остаются.

— *У вас не было сомнений, возвращаться ли к философии после того ада, который вы прошли: депортация, лагеря, ссылка?*

— Я хотела к ней вернуться, только у меня не было уверенности, смогу ли я. Не в административном смысле, а в интеллектуальном. Я ведь так много лет была изолирована от интеллектуальной жизни.

— *Оттуда выходишь ослабленным не только физически?*

— Знаете, как действует голод на человека? Теряется память, потому что мозг не получает достаточного питания. Я забыла латынь, немецкий, греческий и никогда уже не восстановила. Из языков удалось восстановить только французский.

Когда-то я читала “Критику чистого разума” Иммануила Канта по-немецки. У меня и сейчас сохранились заметки, сделанные во время ее чтения. Я писала предложение по-польски, потом по-немецки, снова предложение-два по-польски, снова по-немецки — так выглядит моя тетрадь. А теперь я рядом с немецким текстом Хайдеггера держу перед собой французский. Я вынуждена им пользоваться, так как иначе мне пришлось бы

все время обращаться к словарю. С философией я еще управляюсь, потому что синтаксис типичный, весьма характерный и простой, а понятия знакомые, но уже немецкий детектив прочитывать не могу.

— *Вы вернулись бы сегодня к греческим текстам?*

— Будь я на тридцать лет моложе — вернулась бы и к греческому языку, и к древнегреческим текстам, чтобы читать их не с филологической точки зрения, а как-то иначе, соотнося их с современным человеческим существованием. В них по-прежнему можно что-то открыть, ибо в них всё было высказано впервые и к тому же ясно, хотя эту ясность долго не замечали. Часто говорят, что греки всё подчиняли космологической картине мира. Это не так — у них есть нечто большее.

— *Что же такое это “нечто”?*

— Сейчас я не могу в это вдаваться. Во всяком случае речь идет о вопросах, лежащих где-то на границе метафизики и мистики или религии. С этой точки зрения Плотин остается неисчерпаемым рудником. Но чтобы заниматься Платином, мне пришлось бы читать по-гречески, а не в переводах. Таким образом, я знаю его только из вторых рук. Я сравниваю польские переводы с другими, и мало что совпадает. Кому должна я верить? Я беспомощна и не могу этим заниматься.

— *Итак, вернувшись из Совдепии, вы решили снова помериться силами с философией?*

— Я хотела проверить, выйдет ли у меня. Я должна была научиться писать по-польски и пользоваться нашим языком, а то из меня постоянно лез русский.

Вернувшись в Польшу в 1955 г., я первые годы была начинающим ученым, и то, что происходило вокруг, меня мало трогало. Не волновало меня, было чуждо. И, должна сказать, эту чуждость я в какой-то мере сохранила по сей день. Я никогда не включалась в политику. Вступила в “Солидарность”, но не верила в ее успех. Я понимала тогдашний энтузиазм, но слишком много повидала в жизни, чтобы ему поддаться. Я делала только то, что считала нужным и важным вне зависимости от политики.

— *Итак, философия — это образ жизни. А какой жизни?*

— Вы ждете серьезного ответа на этот вопрос, но у меня снова возникают сомнения, возможен ли он... Я очень люблю загадки.

— *Загадку бытия, например?*

— Хотя бы. Некогда я с увлечением читала “Лилавати” — это была книга по математике для юношества, составленная из загадок. Помню еще книгу “По следам Пифагора” — самые трудные математические загадки. Я это обожала. Философия — это сплошные загадки и сплошные задачи. И ни одна не решается окончательно. Метафизика — это уже такая загадка, что большей и не требуется. Как уж единожды влезла в загадки, так на всю жизнь это и осталось.

— *Метафизика — это такая загадка, которая затрагивает трансцендентное. Почему же вы, человек неверующий...*

— ...а почему трансцендентное должно быть связано с верой? Трансцендентное — это нечто вне нас. А что это — я не знаю. Но почему это сразу должен быть христианский Господь Бог? А может, это дьявол? Может, это просто бесенок? А может, мы всего-навсего обманываем себя, считая, что там что-то есть?

— *Но это все-таки, наверное, не “ничто, небытие”.*

— Может быть, и небытие. “Небытие” — громкое слово и многозначное. Следовало бы хорошенько задуматься над тем, что значит это пресловутое “небытие”.

— *Выходит, философия — это огромная шарада? Вы составляете шарady или решаете?*

— Спросите поэта, хотя бы Эву Липскую, почему она пишет. Видимо, мы к этому принуждены. Вопросы ведут к конкретным вопросам, заставляют думать, мышление заставляет писать. И так далее.

— *Но когда Лешек Колаковский говорит, что жизнь есть поражение, то в этом видна и мудрость, и беспомощность философа перед загадками, которые ему предложены...*

— Я пережила немало поражений, так что у меня к ним выработался иммунитет. Я больше не воспринимаю их так трагически, как когда-то, потому что знаю, что в жизни больше поражений и разочарований, чем радости. Если, однако, кто-то питает надежду, то пусть питает — ни в коем случае нельзя отнимать надежду. У меня уже никаких надежд нет. Только одна: что всё это скоро кончится, потому что с меня хватит.

Жизнь — всегда скорее полоса неустанных разочарований и поражений, привязанностей, которые потом оказываются

ничтожными и пустыми.

— *А казались великими и важными?*

— Может, и были важными, но оказались непрочными и неизбежно погибают. Миры погибают, один за другим. Сначала был мой первый варшавский мир, когда я была маленькая, — этот мир сгинул, потом был такой виленско-хотенчицкий мир — и тоже сгинул. А потом...

— *Некоторые миры сгинули, и слава Богу.*

— Лагерь сгинул, но сколько людей одновременно сгинуло. Я некоторое время работала медсестрой. Знаете, скольким покойникам закрывала глаза?словно я солдат на войне. Это у меня позади. Не вспоминаю и говорить об этом не хочу — зачем? Так сложилась у меня жизнь.

— *Вы жалеете о том, как прожита жизнь?*

— Почему бы мне об этом жалеть? Кому жаловаться? Кто владеет этой жизнью? Жизнь, хочешь не хочешь, развивается сама. Можно только задумываться над тем, каков ее смысл.

— *А есть у нее какой-то смысл?*

— Не знаю. Лешек Колаковский говорит, что обязательно надо верить в какой-то смысл жизни. Я с ним не согласна. Я в этом отношении настроена более пессимистически. Столько миллионов людей погибло во время войны, и таким жутким образом. С какой целью, почему? Как тут вопрошать о смысле?

— *То, что они погибли, смысла не имело, но, может быть, каждая отдельная жизнь все-таки имела смысл.*

— Может, имела, но кто это знает?

— *А дружба? Может, дружеские связи непреходящи?*

— У меня было много друзей, и дружба бывала хорошей и дурной. Ни одного мужчины не удалось мне задержать надолго, потому что каждый — если поглубже поскрести — оказывался моральным слабаком или попросту хамом. Помню, как один поклонник сказал: “Я твой портфель носить не буду — теперь джентльменов нет”. Было одно исключение, но жизнь нас разделила. Война с чувствами не считалась. А потом... Если при женщине нет одного мужчины, тогда их при ней много — прохожих: сегодня они здесь, а завтра — нету. Я, наверное,

слишком самостоятельна. Да, жизнь научила меня полной самостоятельности.

Зато какие у меня верные друзья!

— *Разве дружба тоже неспособна придать смысл нашей жизни?*

— Только частично. Не полностью. Дружба безмерно ценна, но если я в чем-то и вижу смысл, то только в моей работе, ни в чем больше. Но и этот смысл проблематичен и может иметь значение только для меня, не для других. Пишу я для себя, не для других. Доброжелательный отклик — сюрприз. Иногда я получаю очень смешные письма, иногда — трогательные.

— *В 2006 г. у вас были опасения перед тем, как читать лекцию в Большой аудитории Варшавского университета, и вдруг оказалось, что зал переполнен молодежью. Может быть, в этот момент вы ощутили смысл своей работы?*

— Не спору, это был приятный для меня момент. Меня же в университете не знают, мне там вообще не позволяли работать. Я не ожидала, что придет столько народу.

Недавно я была в университете в Белостоке, где говорила о гражданстве. И действительно у меня было чувство, что мои слова доходят, что то, о чем я говорю, людям нужно. Я рассказывала об узком ощущении национальности и широком — гражданства. Там как раз живут поляки, литовцы, белорусы, татары — это такое же пограничье, как мое довоенное, виленское.

— *Не становится ли такое чувство взаимопонимания хотя бы эрзацем смысла?*

— Что вы прицепились к слову “смысл”? Надо бы сначала произвести анализ и понять, что оно означает. Я, кстати, анализировала это в одной своей книге.

Да, наверное, в такие моменты я ощущаю удовлетворение, что мои мысли доходят до людей. Недавно я сказала своим молодым коллегам, которые ходят на мой домашний семинар, что с меня хватит. Они уже доценты, профессора, у них свои семинары, ученики, лекции — зачем нам встречаться? И полгода семинар не собирался. Но вдруг в январе 2055 г. они приходят ко мне и говорят: “Мы не согласны. Будем и дальше проводить семинар. Будем сами уведомлять, звонить, определять с вами программу”.

И как-то это продолжается.

— *Если нет смысла, то появляется отчаяние. Разве тут нет радикального противостояния?*

— Я не люблю слово “отчаяние”. Если человека охватывает отчаяние, то это уже очень плохо. Отчаяние — это самое дно. Избавиться от него очень трудно. Таких чувств нельзя себя позволять, надо быть твердым, а не плакать над собой. Я не плачу.

— *Никогда?*

— Ребенком, разумеется, плакала.

— *Может, люди так судорожно стремятся наделить свою жизнь смыслом, потому что боятся отчаяния?*

— Люди не боятся, потому что очень слабы. У них низкая сопротивляемость. Мелкая неудача — и уже трагедия. А что же, когда приходится переносить настоящую трагедию!

— *Так что же на самом деле важно в жизни?*

— Как для кого. Для меня — философия, само мышление. А вместе с ним искусство! Музыка! Это для меня самые высшие ценности. Искусство! Музыка! Посмотрите на эти диски, которых у меня всё прибавляется. Я продолжаю покупать новые и слушать, продолжаю испытывать жажду.

Когда-то я была завсегдатаем филармонии, но пани Пендерецкая мне всё испортила: начала устраивать концерты со знаменитостями, на которые с абонементом попасть было нельзя, а купить билет тоже нельзя — вход только по приглашениям. Абонемент действовал на концерт оркестра из Быдгоща с каким-нибудь малоизвестным дирижером. Потом приезжает великолепный оркестр, но билетов на его концерт не достать, а в зале полно пустых мест.

Тогда я разъярилась и перестала покупать абонемент. А до того годами ходила, у меня было свое место — 15 е кресло в 15 м ряду, я там всегда сидела, каждую пятницу, регулярно. И тогда, если был какой-то концерт со знаменитостями, держатели абонементов располагали первенством при покупке билетов.

Потом всё изменилось, и я перестала ходить. Иосифа Гофмана я слышала еще до войны, в Париже всегда бегала на концерты, как только могла. Мне удалось даже достать билет на выступление Владимира Горовица.

— *Можно ли сказать, что человек — это зверь с проблеском гения?*

— Восхищаюсь человеком, который, несмотря на свою малость, способен создать что-то гениальное. К сожалению, это главным образом мужчины, и я за это ими восхищаюсь.

А потом тоже главным образом мужчины идут и громят Старый Город после футбольного матча. В таких случаях я думаю, что пора уже начаться войне. Думаю, единственное лекарство для мужчин, чтобы агрессия из них испарилась, — это военные действия. Увы, таков этот род. Нет сомнения, что какой-то гений в них сидит. Женщин такого масштаба не было. Для меня, например, Моцарт и — превыше всего — Бах остаются не какими-то временными типами, а людьми навсегда, до конца.

— *Вы высоко берете. Кем попало вас не удовлетворить...*

— Есть и другие хорошие вещи в жизни: вино, хороший ресторан и опять те самые мужчины, но уже как лучшие повара.